

РЕШЕТНИКОВ Ф.М.



**ГОРНОЗАВОДСКИЕ
ЛЮДИ**

Горнозаводские люди

Рассказ полесовщика

I. ЛЮДИ

Скажу я тебе, хороший человек, про наших горнозаводских людей, что это за люди такие. Вот, слушай-ко! До той поры, как нашего брата, божиею милостью, не уволили всех совсем, мы были люди казенные, подначальные, самые такие маленькие, потому, значит, нашим братом всякий чин понукал, потому, опять, нам на роду было написано быть так: как ты родился от рабочего или мастерового, так и умрешь рабочим или мастеровым... Да. Наш брат смекал тоже, что крестьянин или иной какой мужик бородастый все же лучше нас живет, потому, значит: заплатит он подать да отбудет кой-какие повинности - и шабаш; вольный человек; на все четыре стороны ступай, только билет выправь; делай, что хочешь, а если капитал имеешь, - в купцы можно махнуть, а наш брат - шалишь!.. Твердо оно-то, да приперто!.. А почему это так? У нас, на матушке Руси, много разных заводов и промыслов, казенных и таких, которые принадлежат богатым людям.

Вот к этим-то заводам, рудникам да промыслам и были давным-давно, по указам государевым, навечно причислены или подарены люди, земли и леса. Люди эти как жили в этих местах, так и стали казенными или господскими навсегда, и звания им разные дали, а казенные были уравнены с военными и бород не носили. Всех их наделили покосами и домами. Вот эти-то казенные люди, земли да заводы и стали управляться разными чинами, должностными людьми да присутственными местами, которые и назывались горным ведомством. В маленьких заводах заведены конторы заводские и полиции, которые управляли людьми, заводом, рудниками и землями, которые находились около завода. Над всем этим был управитель - горный инженер. В больших заводах были главные конторы, которые заведовали несколькими заводскими конторами, заводами, рудниками или целым округом, которым управлял горный начальник - тоже горный инженер, подполковник или полковник (или, как прежде было, обер-бергауптман или бергауптман). Всеми этими горными начальниками, людьми, заводами и начальниками управляло уральское горное правление, которое было сперва в Перми, а теперь в Екатеринбурге, и город этот назван горным, потому, значит, в нем главное управление уральским горным ведомством и живет главный начальник, который еще выше горного правления и глава надо всем, а выше главного начальника есть еще министр финансов. Еще есть горные правления в Сибири и других местах, да там меньше заводов и людей, чем у нас. Наше горное правление не одними казенными правит, но и частными заводами и промыслами, которых много в Екатеринбургском уезде и еще более в Пермской губернии, и начальствует чуть не надо всем Уральским хребтом в Пермской, Оренбургской, Вятской и Казанской губерниях, где есть заводы, земли и люди - казенные и частные.

В казенных заводах, селениях, рудниках и в городе Екатеринбурге жили горнозаводские

люди. Люди эти были вот какие чины: горные инженеры и другие чиновники, нижние и рабочие, и сословие рабочих. Все они слушались своих командиров, знали свои места, исполняли обязанности по горной части, не могли отлучиться из своего места без воли начальства и не могли выйти в другое состояние (если родились в горном звании). Всем им была служба тридцать пять лет.

Кроме инженеров, вот какие были названия: нижние чины назывались урядниками, унтер-шихтмейстерами, межевщиками, чертежниками, фельдшерами и аптекарскими учениками; нижние рабочие чины назывались: уставщиками или кондукторами, мастерами и писарями; прочие назывались сословием рабочих людей и были: мастеровыми, урочно-рабочими, писцами и цеховыми учениками. Были у нас еще баталионы и лесная стража. Баталионы с первого начала набирались из солдат, а потом составляли его дети их, записанные к горному ведомству. Люди из баталионов стерегли казенные места: сторожа рассыльные и казаки - все из баталионов, и все носят горную форму и имеют командира - главного начальника. Наши леса стерегли наши же люди. Леса разделялись на округа или лесничества, объезды или дистанции и обходы. Они управлялись лесничими и их помощниками, а стража называлась объездчиками, стрелками, полесовщиками и сторожами. Все эти люди получали жалованье, провиант, имели дома, которые строили на казенный счет, и покосы.

Нижние рабочие чины командовали над рабочими людьми - мастеровыми и урочно-рабочими. Мастеровые знали какое-нибудь ремесло и занимались работой дома, а в казну нанимали работника. Урочные работники не имели ремесел и работали на заводах, фабриках, в рудниках и исправляли все работы в казну. Эти урочно-рабочие делились на конных и пеших. Конным давались от казны две лошади, и они работали на казну двести дней в году; пешие - сто двадцать пять дней, и, кроме того, летом, с первого мая по первое ноября, половину месяца работали на себя, потому, значит, давалось время за уходом покосов. Конные и пешие делились на десятки и сотни, коими управляли десятники и сотники, а всеми - старшины. Каждый десяток, сотня отвечали за свой участок или десяток и сотню и обязывались сделать все, что им назначалось особо от другой сотни или десятка, и каждый работник отвечал сам за себя и следил за другим работником, для того, значит, чтобы работа в участке шла для всех поровну и кончалась в срок. Все рабочие, сверх жалованья, получали провиант и дрова. Холостые получали провианта по два пуда в месяц, женатые - четыре пуда; на сына полагался пуд; на дочь, до восемнадцатилетнего возраста, - полпуда или где как назначено. Конные, сверх всего этого, получали по шести копеек за рабочий день, на две лошади, а если они ездили на работы менее пятнадцати верст, то получали еще по две копейки в сутки на пропитание, а если дальше пятнадцати верст от своего жительства - по три рубля в месяц, если только не работали куренные работы, за кои платилось по особым положениям.

После тридцатипятилетней службы мастеровые и рабочие получали пенсион - половину годового жалованья или несколько копеек в месяц; за сорок лет - две трети, а кто не хотел пенсии - получал единовременно трехгодовой оклад жалованья. Жены, после смерти мужей, получали пенсион от шести рублей восьмидесяти семи копеек до одного рубля семидесяти двух копеек в год, а дети, до двенадцатилетнего возраста, - по десяти копеек в месяц, с двенадцатилетнего - по двадцать две копейки. Дочерям давался пенсион до пятнадцатилетнего возраста.

Каждый мастеровой и урочно-рабочий был женат с семнадцати лет, потому, значит, что без жены нельзя жить; муж уйдет на работу, а дома хоть шаром кати. С женою потому хорошо: она и накормит мужа, и хлеба на дорогу напечет, и провианта больше дают, и детей она родит, кои тоже провиант получают и помогают отцам. Значит, хорошо и весело, и без бабы жить нельзя. У жен наших были свои работы: они управляли домами, смотрели за детьми, садили летом в огородах разные овощи, коров и овец держали, нитки пряли, работали на свое семейство. Значит, простые были, такие же, как и мы, грешные, - мужья. Мы были

командирами над ними и всем своим имуществом; они орудовали над детьми и скотом.

Наши сыновья с осемилетнего до пятнадцатилетнего возраста назывались малолетками и если не учились в школах, то работали дома или с отцами на казну и получали провианта по полтора пуда в месяц; с пятнадцатилетнего до осемнадцатилетнего возраста они назывались уже подростками и употреблялись на легкие работы на заводах, за что и получали по два пуда провианта в месяц; и кроме провианта, дети наши за работы получали от пятнадцати до двадцати двух копеек в месяц жалованья.

Для наших сыновей были устроены в заводах школы, куда они брались осемилетние, и за учение получали по пятнадцати копеек в месяц. По окончании учения они брались в работы или их переводили в окружные училища, кои были в тех заводах, где главные конторы и где жил горный начальник. Там они жили в казенном доме и учились четыре года. После учения в этих училищах их определяли в конторы писцами или в другие места, в той части, чему они научились в училище. Хорошие ученики поступали в уральское училище, которое находилось в Екатеринбурге; учили четыре года горные пауки и выходили с званием урядника на службу, или в управление, или в заводы.

Для нездоровых у нас были поделаны лазареты и богадельни. Там были наши же фельдшера и лекарские ученики, только присылали лекаря или аптекаря не нашего ведомства.

Вот кто мы такие были. Начальство тоже заботилось о нашем брате, только не выпускало нас из нашего звания. Уж так, верно, нам на роду было написано. Ничего бы и это, да то скверно: много у нас начальников было; много от них непорядков делалось; больно они уж важничали и худо обращались с нами. Ближайшее наше начальство были сотники и старшины. Они назначали нам места работ, требовали сделать какое-нибудь дело непременно к такому-то дню, и если кто-нибудь из нас не слушался их - они того драли и приказывали ему работать в те дни, когда он должен быть свободным от работы. Бывало, наш брат никакой вины за собой не знает, а работает весь год в казну; нет ему спуска, а стал говорить - хуже: отдерут и провианта лишат. Богатому еще можно было отлытывать от работы, потому, значит, стоило только подарить старшину, а бедный и жаловаться не смел, потому, значит, жалобам высшее начальство не верило. И бывало то: конные часто имели одну лошадь и не получали на нее денег; когда ездили далеко, не получали жалованья; и конторы хитрили в выдаче провианта, так что вместо шести пудов рабочий получал два пуда, а за остальными ходил круглый год, да иному и ходить некогда было, так и попускались, потому, значит, боялись жаловаться и работали через силу. Досадно нам было больно, что нами всякий чин понукает; думали мы: "Как же, мы работаем исправно, а почто нам за наши труды не дают всего, что требуется по закону?"

Зато с своим братом, рабочим или мастеровым, мы жили дружно, душа в душу; любили выпить компанией и все ругали своих командиров. Тогда никто не попадай нам под руку - поколотим, как шельму, и если что набедокурим, ни за что не выдадим друг друга. И жены наши между собой жили дружно, а если ссорились, то скоро мирились. Все мы не любили тех, кто из нашего брата, важничал. С таким мы даже не говорили.

В частных заводах такие же были заведены порядки, как и на казенных: люди получали жалованье, провиант, имели дома и покосы, и такая же была у них служба, только рабочие назывались непременно работниками, и ими командовали нарядчики, смотрители работ и приказчики. На малых заводах там были заводские конторы, в больших - главные конторы, которыми управлял управляющий заводами какого-нибудь заводладельца. От каждого владельца были один или несколько управляющих, например у Сергинских было трое. Управляющие определялись заводладельцами, по доверенностям, из генералов, чиновников и заводских людей (например, были в Верх-Исетском заводе тамошние заводские люди), такие, кои знали горную часть. Вот эти управляющие управляли всеми людьми, землями, рудниками и заводами хозяина, распорядились работами и были главным лицом,

потому, значит, многие хозяева не жили в своих заводах. За это они получали сверх квартиры до двадцати тысяч рублей в год жалованья, ну - и в карман клали, отчего иные заводовладельцы разорялись. Заводовладельцы эти получали от управляющих отчеты такие огромные, что им не хотелось их проверять самим, да они в них и не понимали мудростей управляющих и верили своим управляющим, людям богатым и кои были дружны со всеми властями в нашем городе. Управляющие, по доверенностям, предоставляли части управления заводом, людьми и рудниками приказчикам, которые тоже доверяли своим помощникам части управления - нарядчикам и смотрителям работ. Не все управляющие входили в нужды жителей, а предоставляли надзор за ними и работами приказчикам, которые делали все что хотели и делили свои барыши с управляющими. С людьми они обращались строже казенных начальников, били правого, драли и не выпускали из рудников. Больно трудна была работа в рудниках. Там иные по неделе из шахты не выходили и ползали так в земле с тачками с рудой на расстоянии сажен десяти и пятнадцати от поверхности... Там за малую провинку стегали работника и заставляли работать не в зачет, из выгод управляющего. Особенно трудно было на сысертских заводах незадолго до манифеста о воле. Там управляющий давал приказания приказчикам достать к такому-то числу столько-то руды и выгнать на такой-то рудник столько-то людей, и если рабочие не могли достать, работы усиливались, и их драли. Приказчики, нарядчики и смотрители были мучителями рабочих, и рабочим жаловаться было некому. Управляющие к себе рабочих не допускали, приказчики драли, а хотя и были там исправники, кои определялись горным правлением, но они не разбирали жалоб рабочих на приказчика и управляющего. Жаловались немногие горному правлению и главному начальнику, но таких отсылали обратно в заводы с приказанием наказать (В 1859 и 1860 гг. по жалобам мастеровых Сысертского завода, по приказанию главного начальника, было произведено следствие чиновниками Фоком и Алтуховым. По этому следствию обнаружено много злоупотреблений со стороны управляющего К. и сто доверенных лиц. Управляющий К., вследствие его подсудности, был уволен, а приказчики успели, еще до производства следствия и до поступления дела в уездный суд, выйти на волю и записаться в купцы. О дальнейшей судьбе этих лиц мне неизвестно. - Примеч. автора). Пятнадцатилетние дети там работали наравне с отцами в рудниках, и их били и драли за лень!

Тяжелые были времена, и ты, милый человек, поди, не веришь этому. Было, братец мой, много мук было... а пристать за народ некому.

Были там еще поверенные чиновники и заводские люди.

Они жили в нашем горном городе и ходатайствовали по делам в суде в пользу управляющих и богатых людей. Они обирали управляющего и своих доверителей и делали в суде что хотели. Если они хлопотали за бедных, кои давали им последние свои деньги, то они все-таки держали сторону богатого и заводских властей. Через них-то правому и не было в суде защиты, и правый делался виноватым или лишался своего имущества, а виноватый делался правым...

Однако не во всех заводах частных было так. Вот в яковлевских да демидовских хорошее было житье людям, оттого, значит, там хорошие были управляющие, кои сами присматривали за работами и не обижали людей. Все не жаловались на свою жизнь; и в Нижне-Тагильском и Верх-Исетском много было богачей, и заводы эти богатые. Демидовские и яковлевские люди приобретали тайком металлы, делали из них вещи и продавали в то время, когда отправлялся караван весной по воде, или изделия свои они продавали на ярмарках и в городе. Зато там большая половина жителей была единоверцы или раскольники.

От непорядков в других заводах многие воровали, убивали, делали серебряные и бумажные деньги, за что их ловили и ссылали в Сибирь. Деланием кредитных билетов, воровством и убийством славились невяньские; с других заводов бегали и говорили, когда ловили их, что они непомнящие родства, или уходили в леса к раскольникам. Им лучше нравилось идти в

Сибирь, чем терпеть в заводе.

Ну, а теперь, слава тебе господи, воля вышла. Шабаш!.. Всяк вольный стал: хочешь - работай, не хочешь - как хочешь, силой никто не заставит. Сначала, как прочитали нам манифест, мы и руки сложили, лежим себе дома; а как потребовали нас на работу, мы и говорили: "Знать никого не хотим... Дождались мы матушки-воли - и шабаш!.." А когда нам растолковали, что еще два года останется прежний труд, мы долго не могли понять: зачем еще два года! Коли манифест прочитали - и давай билет на все четыре стороны! Мы еще до манифеста слышали, что нас уволят, только не могли понять, как уволят. Что будет с нашими домами и покосами? А многие богатые да начальники наши печалились, что их от команды отставят; ну, да им можно было, а мы-то как? Терпели-терпели, а потом и выдворят нас из своих домов?.. Урядники тоже побаивались: им хорошо жилось, а как погонят их метлой из службы, куда они денутся? Нынче, братец ты мой, хороший человек, писарей-то воно сколько развелось, и чиновникам местов мало, а нашему брату и подавно. Ну, а когда мы прочитали положение и поняли дело - ничего: домов не отнимут, а кто выслужил года - покоса не отнимут, а не выслужил - деньги плати. Хорошо, ей-богу! Хочешь работать - работай, денежки будут давать, а драть да бить по морде уж не станут, значит, воля, и сам можешь сдачи дать. Слава те господи! Мы, казенные люди, рады были воле, только,- по привычке, что ли, или бог знает отчего, - нам как-то неловко казалось вдруг сделаться вольными: работал ты, били тебя, драли как Сидорову козу, и вдруг ты вольный, хоть в купцы ступай! Это диво! Эко счастье! Эвоно куда пошло!.. Да мы, братец ты мой, хороший ты человек! - да мы, скажу я тебе, целую неделю, как прочитали положение, из кабаков не выходили, а дома все батюшку-царя родного благодарили! На что наши жены - дуры, и те себе по обновке купили да по гривенной свечке за царя поставили в церкви... Ай да батюшка-царь! Большое тебе спасибо: не ты бы, голубчик, так поедом бы нас заели...

Два года мы еще работали по-старому, только наши начальники затихли: не стали нас драть. В частных заводах бунты затевали, оттого, значит, что там усилили на рабочих работы, для того, значит, чтобы рабочие больше сделали, а то, пожалуй, после рудники станут; к тому же находились там такие умники, кои сбивали народ, что работать больше не следует. Ну, а у нашего брата, сказал что один толково, и все в один голос говорят: так! Ну, и не шли на работы, к управляющему лезли, побить его хотели... Их усмиряли солдаты и губернатор и драли потом, а все-таки не объясняли толково... Потом, как уволили нас совсем в нынешнем году, начальство и давай упрашивать нас остаться при тех же работах, плату нам назначило. Ну, мы, бедные люди, казенные и бывшие господские, подумали-подумали - куда пойдешь? Да и на одном месте камешек обрастает, говорит пословица; денег нет, и стали опять работать по-прежнему; только теперь уж - вольные люди, и денег больше дают. Да и опять, как подумаешь,- ведь без нас казна не обойдется; кто, кроме нашего брата, пойдет на фабрику да в рудник: крестьянин или иной какой к этой работе не сроден, а мы сызмалетства привыкли к ней. Нам и холод и голод - все нипочем. Ну, так все и остались при своих местах, и теперь лучше стало как у нас, так и в бывших частных заводах. Иные, богатые, в мещане да купцы записываются, другие куда-то разъехались, а мы, маленькие люди, так и будем маленькими людьми; только теперь мы - вольные люди, никто нами не смей понукать... А все батюшка-царь это добро сделал. Ну, как не молить нам за него бога... Вот, значит, он один понял да вникнул в наше положение...

II. ПОЛЕСОВЩИК

Теперь скажу я тебе, братец ты мой, что я за человек такой. Видишь ли: отец мой был лесной сторож, самый последний, маленький человек, ничтожный, то есть: всякий подначальный его мог бить, сделать с ним что вздумалось бы. Звали его от рождения и до самой смерти Иваном Фотеичем Ивановым, а как умер теперь, по поминальникам, кои у детей поделаны, в церквах, в радовницы да в день его святого,- поминают только рабом божийм Иваном или Иоаном, как в поминальнике у него написано. Вот этот раб божий да подначальный, самый маленький человек, был женат на Степаниде Егоровне, от которой и родилась ему куча ребят, целая семья: Гаврило, Петр, Семен, Тимофей, Павел, Агафья и Пелагея, и я после них. А окрестили меня Иваном, и стал я Иван Иванов Иванов же. Вот что. А почему не иначе меня назвали, я скажу тебе, братец ты мой, историю, которую отец мой часто рассказывал своим приятелям. Он так говорил:

- Этот шишкотряс, Ванька, больно мне солон, костью в горле стоит... Потому, значит, меня через него с кордона стурили в сторожа, и с его родин я совсем обеднел. У меня, знаешь ли ты, было уж пять сыновей: Ганька да Петька, да Сенька, Тюнька, да Пашка, да две дочери Агашка и Палашка; и не рад был я этой ораве, потому, значит, в избе стало тесно, и одеть их не во что было... А если были какие доходы, все на мясо да водку шло, потому выпивал я баско... Ну, я уже и не думал, чтобы жена еще кого-нибудь родила, потому, значит, она ничего не говорила, да и я не замечал... Ну, и ладно... Был я, знаешь ли ты, одного раза, летом, на кордоне; пробыл уже два дня и мастюжил себе сапоги. Вдруг и прибежали Ганька да Петька и говорят мне: "Мамка тятка, парня родила... нас за тобой прогнала; крестить говорит, парня надо; помират тожно... Денег велела нести..." Озлился я на парней, оттастал их за гривы, и жену выругал, и стал парней домой гнать. А они что: хоть кол им теши на голове, пристали, бестии: парня, говорят, мамка родила, ревет уж он больно... маленький, говорят, такой да красный зачем-то... Ну, я подумал-подумал: коли родила, не бросать же в пруд, пригодится; по крайности провиант на него буду получать; дал им три гривенника и протурил домой: скоро, мол, буду; только вместо себя кого-нибудь оставлю... Парни домой побежали. Хохочут, на одной ноге скачут да деньги ловят, а я все вижу с дороги да ругаюсь им и кулаки кажу... В это время пришел на кордон сосед-полесовщик, ну, я и попросил его остаться за меня денька на два и заказал, если спросят меня лесничий или помощник, сказать, что у меня-де жена парня родила. Только я вышел на дорогу и сел на лошадь, и увидел, как недалечко из леса два порубщика выезжают с бревнами. Скликнул я товарища и напал на них... Они было артачиться стали: куды-те - кулаки тоже кажут... А когда мы хотели у них поводья изрубить да дуги отнять - они и дали нам два рубля... Ну, мы и отпустили... Поехал я домой, посвистываю себе: денежки, мол, есть; попу есть что дать... Да попался мне навстречу сосед, будь он проклят, Егоров. Поедем, говорит, выпьем, у меня деньги есть... А он уж выпивши был. А как я подъезжал уже к своему краю, в Мельковку (Название края города Екатеринбурга. Эту часть города отделяет узкая грязная речка Мельковка, впадающая в городской пруд. Дома в Мельковке старенькие, построенные на заводский манер. Если только зайти в Мельковку и пройти несколько грязных улиц и переулков да посмотреть на дома, людей, коров, коз и ребятишек, бегающих и расхаживающих по улицам, так и кажется, что какая-то деревня. Все-таки это город. - Примеч. автора), и недалече был от кабачка, и зашли выпить, а лошадь я привязал к столбу фонарному, какой был около кабачка, один во всем этом краю. Ну, зашли, выпили по косушке, мало показалось, еще взяли полштоф, уж на мои деньги, а тут еще знакомый мастеровой гранильной фабрики подвернулся, еще нас угостил. Изрядно-таки мы выпили, долго дубоширили из-за чего-то с целовальником и выбили его; нас за это и спровадили в полицию... Как повели нас в полицию, хватился я лошади - тютю!.. Ах, капалка, черт бы тебя подрал! Куда лошадь делась?.. Стал спрашивать то того, то другого; не знаем, говорят... Вот какие свиньи! А казаки гонят нас... Досадно мне стало; взбунтовал я двух мастеровых, да еще четверо пришли: оттузили мы казаков. Ушли они от нас... Куда делась лошадь? Злость меня берет; да и своя братия, мастеровые, тоже жалеют... а нашему брату без лошади как без рук житье. Сказали мне, что Гаврилко Заикин увел ее. Вот я к нему - дома нет. Марш в полицию, а меня, вместо того чтобы мою жалобу разобрать, в чижовку посадили... Ах, досада какая! Хотел я все стены проломать, людей,

воров да мошенников, которые тут были, хотел избить, да силы и воли такой не было... Так я и ночевал в чижовке, а утром меня высекали. Уж как мне досадно было... Стал было я просить одного служащего просьбу накатать, да он рубль запросил; выругал я его, варнака, и пошел к лесничему. А тот уж узнал, что я в полиции сидел, никаких оправданий не принял, а снова спровадил меня в полицию, высечь велел, а потом идти в лес, - и назначил меня сторожем на другую площадь... Что ты станешь делать: просить некого больше... Просидел еще день; выпустили, спасибо хоть не высекали снова; жалко, должно быть, стало... Прихожу я домой: жена ругается, стерва, а меня злость берет; ударил я ее по голове кулаком и сказал все как было. И она запечалилась; троих парней, которые постарше были, послала лошадь искать. А когда я спросил: как парнишка назвали? - она и сказала: Иваном, - Это, говорит, так было. Я, говорит, по всем соседям бегала, да едва-едва с полтину выклянчила денег; спасибо, Петрович (знакомый мастеровой, человек капитальный) кумом захотел быть: и денег два рубля дал и медный крестик с гайтанчиком парнишке купил. Ну, принесла я парнишку в церковь; Петрович пришел, да Гурьяновна с Трофимовной пришли в церковь... Трофимовна рубашку ситцевую ребенку сшила и кумой была... Насилу-насилу мы уговорили священника окрестить: некогда, говорит, после придите... Вот и стал он спрашивать меня: "Какое ребенку имя дать?" А я почем знаю? Грамотная я, что ли? Ну, и говорю: "Хоть какое, батюшка, только поскладнее да полегче..." - "Какое же?" - думает он и спрашивает кума. И осердился тожно: "Вы, говорит, раньше должны обдумать..." Кум, не будь робок, сказал: "Вы, говорит, батюшка, не горячитесь, потому, значит, люди бедные, а тоже, коли окрестите, мы денег дадим, а не окрестите, к архирею пойдём..." Батюшка осердился и вскричал: "Да какое же имя-то?" - "Ну, каких всех больше,- говорит кум,- коих больше в году, такое и дайте..." - "Иванов больше", - сказал священник. "Ну, Иван так Иван, все едино",- сказал кум. И окрестил поп парнишку Иваном... - А лошадь я так-таки и не нашел... Год целый на чужой ездил, целый год лес продавал да копил деньги, и купил хоть дрянную, да все же лошадку, а просил из казны - не дали: не стоишь, говорили".

И стал я расти да расти. А что было до четвертого года, не помню. На четвертом году я уже бегал, а на пятом стал понимать. Звали меня Ванькой да Ванюшкой все братья да сестры и отец с матерью. Старшие братья и отец с матерью то и дело меня завертывали да колотили, потому, значит больно уж я баловник был. Да и не я один баловник был, братья да другие наши ребята еще получше меня были. Только мне больно доставалось. Я скажу тебе, братец ты мой, отец был бедный человек, жили мы все в одной избе, спали, летом - кто на сеннике, кто в чулане, кто в избе, где попало, а зимой мать с отцом на печке лежали, если отец был дома, мы - на полатах да в печке; потом значит, у отца не было шубы, а ходил он в сером кафтане да большой моховой шапке, а на руки надевал собачьи рукавицы, большие-пребольшие, такие, что мне, пятилетнему, как я надевал отцовскую рукавицу, она по горло была... У матери была еще шубейка, вроде нынешнего пальта, а у нас, кроме рубашонок да у старших братьев - худых прехудых штанов, ничего не было. И у отца-то с матерью всего-навсего было по две рубахи: а умываться мы не умы вались, только в бане каждую неделю мылись. Когда мне пятый был год, я с отцом, да с матерью, да еще маленькой сестренкой Машкой, какая через год, сказывали, после меня родилась, вместе мылись в бане, потому, значит, нас мать мыла и парила, - аяй, как жарко!.. Отец-то уж тогда больно парился и смешил меня да мать; на что и Машка мала была, и та кричала весело и махала ручонками да показывала на отца. Он заберется это на полок, сгонит мать на лавку и давай хлестаться веником. Жара нестерпимая... Отец выпарится и пойдет зимой из бани прямо на снег, сядет и пыхтит да любится на себя... А у нас баня без крыши была, и предбанника в ней не было, а прямо залезали с огорода в баню и в ней раздевались и рубахи вешали на шест; оно и хорошо: и рубахи не мочатся, потом, значит, вши да блохи издохнут от жара, и мы их же надеваем, а не то мать их в бане же вымоет и высушит, пока мы моемся... Летом отец не выходил, после парки, из бани, а окачивался холодной водой. Прочие братья ходили все вместе, а сестры особо.

Семья у нас была большая. День у нас так начинался. Встанем мы и подходим к матери:

"Ись! ись!.." Как заголосит человек пять "ись", она и деться не знает куда. Одного колонет, другого оттеребит, третьего ухватом прогонит, а ее передразнивают: язык; выставляют да хохочут... Кто плачет, кто друг друга колотит да за волосы теребит... А скажет она кому-нибудь: поди-тось, принеси то-то - никто нейдет... Подоит она корову, принесет нам кринку молока да каравай хлеба, две ложки деревянные, мы и начнем драку: кто хлеб отнимает, кто ложку, кто кринку к себе волокет... Крик, и смех, и плач... просто содом и гомор...

Летом мы весь день терлись на улице и играли с ребятами в разные игры. На пятом году я боек был, и доставалось мне от всех. Волосы у меня были белые, курчавые такие, лицо некрасивое, корявое, - говорят, оспа изъела. Как это я выбегу из ворот, и зовут меня ребята: "Векша! векша! бычья голова!" На улице мы барахтались, кувыркались, в лошади бегали. Обхватишь, бывало, промеж ног палку и задуваешь по улице в рубашонке, только волосы трясутся, а тебя погоняют с криком да свистом. Или возьмешь в зубы веревку за середину, двое держат ее за концы и давай понукать тебя. Ну, и стрелешивашь (Бежишь - Примеч. автора.) и свету божьего не видишь; бывало, и упадешь, - поплачешь маленько и опять за старое. Я тогда бойко бегал; были парни, кои бойчее меня бегали, ну, да те старше меня были. Бывало, пустишься бежать взапуски, бежишь-бежишь, а как нагонит тебя кто-нибудь, собьет с ног, сядет на тебя верхом - вези! - и везешь; другой подскочит, подплетет ноги - падешь, начинается барахтанье... плач и смех... Кои из нас постарше были, те в бабки играли да через голову перекувыркивались, и я этому научился. Больно мне хотелось научиться на руках да на голове ходить. Это я видел на бульваре, как один фокусник на голове ходил... Ну, мы, ребята, были переимчивые, нас фокусы больно занимали, и многие из нас учились на голове ходить, да не могли. Редкий день проходил, чтобы я не ложился на середину дороги да не поднимал кверху ног. Поднимаешь это ноги кверху - неловко становится, а тут еще подвернется кто-нибудь и потащит тебя за ноги; к нему другие подойдут и тащат кто за ногу, кто за руку да кричат: "Волоки его, качай на все стороны!" С этими парнями я научился кукишки показывать, глаза косить да делать глаза красными, через заплоты лазить, с крыш скакать да в трубу с вышки пролезать на крышу. Бывало, вылезешь это из трубы весь черный, как дьявол, и соскочишь с крыши, а потом и побежишь умыться из лужи или на реку. Придешь домой; как увидит мать черную рубаху - и давай полысать вицами из веника. Я и в бабки играл. Бабок у нас было богатство, потому, значит, мы их сами промышляли. Пойдешь куда-нибудь на неделе да где сору больше и перероешь место - нет ли бабок. Нашел гнездо, и слава те господи. У меня не много было бабок, потому, значит, играть я не умел: не мог в гнезда попадать. А другие по лукошку имели. Поставят это гнезд восемь или пятнадцать и давай кидать за черту бабки. Если бабка падет сакой - на брюхо, значит, тону первому в бить, а пала бокой - тему после бить. Вот набросаем мы бабки и давай спорить: ту бабку, коя сакой пала, бокой делаем, а боку - сакой, ну, и барахтаемся да ругаемся. Я любил слепым бить. Так и норовлю, чтобы моя бабка пала между чертой и гнездами. Ну, как падет, зажмурят мне глаза, я кину бабку - и переброшу через кон... Побегу, схвачу с кона гнездо, сшарабошу ногой все гнезда я марш наутек... Меня догоняют, колотят. Пробовал я и налитками бить - бабками со свинцом - все плохо попадал, бросал и кобыльки бабки - большие - и тут мимо, а все-таки уносил домой пару гнезд, - воровал, значит. Не нравилось я не, как дразнили меня наши ребята. Как завидят они меня и кричат: "Векщица! векщица! бычья голова! шаршавая собака!.." Я бежал к ним и хотел ударить кого-нибудь, а они подходили ко мне, протягивали руки и усыкали, как собаку: "Векщица, Векщица! усь! усь!" Я хотел поймать их всех и заодно прибить, а они бежали и опять дразнили... Я кидал в них камнями, и они в меня кидали. От этих шалостей у меня вот и теперь на лбу медаль сидит: камнем попали. Когда попали, я с воем пришел домой, а отец в то время дома был, ремнем меня отдул... Большое удовольствие было для нас коров сердить. Схватишь хвост коровы и давай его таскать, а если корова бодливая, песку ей накидаешь в глаза... Проходим, особенно девкам да таким ребятам, которые в сертуках ходили, от нас не было спуска. Пройдет девка, мы с нее платок стащим; если она воду несет - наплюем в воду иди прольем. Она дерется, а нам смешно. Идет барич какой (мы не любили баричей или тех, которые в

сертучках ходили), мы и давай плясать перед ним да глаза косить. Неймется ему, мы рядышком пойдем с ним и давай толкать его в бока, для того, значит, чтобы рассердить. И если он заругается, - нам и любо. Мы и давай его передразнивать, как он ходит, и говорим; "Барчук пичук, в чужой огород залез, козу съел... свинья ему избу лизала". А если ему невтерпеж будет да он камнями станет кидаться, мы убежим от него и кричим: "Пырни его! камнем его!.." И кидали камнями, а сами убегали...

Любили мы также в огороде воровать да топтать, что насажено. В огородах у нас в теперь чучелы поделаны. Стоит шест с перекладиной, и на него рубаха или рогожа надета, а внутри, за рубаху или рогожу, солома натолкана, как есть человек с руками, только ног нет, а вместо головы к туловищу бурак или худая-прехудая шапка надета, Это, значит, для того, чтобы вороны да кои другие птицы в огороды не летали в растения не клевали. Ну, мы заберемся в огород, перетопчем все гряды, повытаскаем лук да редьку или картофель, и чучелу на землю свалим, и тычинки, которые воткнуты в гряды с горохом, выдергаем. Придут наши матери-только ахают да коров и коз ругают, а как заметят нас - выдерут, да что нам бабья дерка! Для чего мы гряды топтали - никто из нас сам не понимал, и делалось как-то спроста, ни с того ни с сего, и нам после этого смешно было; либо воровали с чужого огорода морковь - тоже не знаю для чего, а так, хотелось побаловать. А отчего мы такими баловниками были, так потому, смекаю, что отцы наши дома редко бывали, а если бывали, то били только за то, если мы их не слушались. Матери вам нипочем были: они только с утра до вечера ругались, а если и били больно, так нам только обидно было: мы видели, как отцы наши их били да веревками драли, и мы в это время смеялись и говорили друг дружке шепотом? "Ай да тятка! ну-ко, ишшо прибавь!.." Любо нам почему-то было, когда отцы матерей били, и мы не боялись матерей, а часто, когда они колотили нас, мы притворялись, что плакали, и грозили: "Погоди, тятке скажу!"...

Летом в дом мы ходили только есть. Много мы тогда ели. Зимой сидели дома на печке да на полатах, а если отец куда-нибудь посылал которого-нибудь из нас, тот надевал отцовскую курточку, его большие дировитые сапоги, огромную его шапку. Пойдешь это по дороге в таком облачении - рукава по снегу волочатся, сапоги тяжелые такие, снег то и дело в них набивается... Шлепаешь-шлепаешь, запнешься и упадешь, а шапка так и закрывает рот, а поднять ее рукава мешают...

Кроме бегания да колотушек друг с дружкой, мы досаждали своим сестрам. Больно мы не любили их за то, что они на нас жаловались, ну, и пакостили им. Завидим только где-нибудь чулок, и распустим его; увидим на полатах или в углу прялку с куделей да веретешком, вытащим веретешко и забросим куда-нибудь, под лавку или за печку; или когда они половики ткали, мы разрезывали их. Пройдет которая-нибудь из них мимо нас, мы ноги подставляем да хохочем; или когда они обедали отдельно от нас, мы в щи плевали. А все на эти штуки я был горазд.

- Вот что, Тюнька, сделаем мы штуку? - говорил я брату Тимофею.

- Сделаем.

- А ты не скажешь?

- Ты только молчи, я - шабаш.

- Пойдем, вымараем грязью нитки, что Агашка сушить положила на траву.

- Айда! - Пойдем, вымажем - и хохочем. Однако наши братья не все дружно жили. Семен да Павел часто жаловались на нас сестрам да матери, и отцу жаловались. Отца мы все боялись. Придет он домой и как только заметит, что кто-нибудь балует, ударит кулачищем по чем попало и скажет: "Я те, шельмец!" Ну, мы и притихнем, только втихомолку возмемся; а увернется отец, опять пошла писать. Как только скажет которому из нас: "Поди-ко, балбес,

распряги лошадь!" или другую какую работу даст, да тот не пошел, он брал витье или ремень, коим опоясывался, так-то драл, что искры из глаз сыпались; и слушались мы отцовскую команду...

Отец меня больно не любил, часто заставлял делать что-нибудь не под силу, и если я не мог да ленился, он так долго и больно теребил меня за волосы, беда! И часто ни за что бил, мать часто на меня жаловалась отцу.

- Уйми ты, чучело, Ваньку. Я с ним, разбойником, способиться не могу. Он вот сегодня кринку молока пролил...

- Я те, шельмец! - ворчал отец, а я забивался на полати и говорил: "Мамка сама пролила, а на меня сваливает; ишь, какая".

- Поговори ты еще! - кричала мать.

- Чего говори! Сама, поди-кось, съела...- ворчал я. Отец стаскивал меня с полатей и бил не на милость божью.

Больно мне не хотелось качать Машку, когда она еще маленькая была. Закричит мне мать: "Ванька, качай ребенка".

- А Агашка-то што?

- Тебе говорят!

Сяду я качать зыбку и плачу: "Вот Агашку да Палашку небось не заставляешь... Что они за барыни за такие! Все лытать бы им... А я качай тут..."

Мать ударит меня по голове и погрозит пожаловаться отцу. Как только ребенок затихает, я и марш - летом на улицу, зимой на полати, и не вытащишь меня оттуда. А когда приведет она меня силой, я опять плачу, и ругаюсь, и думаю: "Уж сделаю я с этой Машкой штуку! не станет меня мать заставлять!" И давай качать зыбку что есть мочи: все хочется очен переломить, а он, как назло, только гнется да Машку то и дело перебрасывает из стороны в сторону; она ревет; мать подойдет, прибьет меня и прогонит...

Много я принял побоев в детстве, да и не один я: все мои братья и прочие ребята так же росли, только первым, сказывают, будто лучше было.

Зимой, в масленицу, мы делали катушку и катались на лубках да рогожках; кубарем скатывались и сестер своих толкали с горки. В масленицу в жмурки играли: завяжет кто-нибудь глаза полотенцем или тряпкой и ловит прочих. Его колотят, а он бегаёт с распяленными руками. Как поймает кого, тот и завязывает себе глаза и ловит. Это и теперь у нас есть. Ты, братец ты мой, извини уж меня, что я тебе про игры да кое-что рассказал. Уж таково мое воспитание было, и вся наука в том была.

Когда мне был двенадцатый год, отец брал меня с собой в лес и заставлял рубить дрова и возить их в город, домой. Он караулил лес верстах в десяти от города и жил в нем по неделе, а другую жил дома, что-нибудь работал на себя, шил матери да сестре ботинки, кое-кому сапоги, и на эти деньги мать покупала ситца себе да сестрам. Только в люди отец мало шил сапогов, потому, значит, худо шил, а больше починивал.

Братья Гаврило и Петр были взяты на золотые прииски, а брат Павел и сестра Марья умерли. В доме у нас свободнее стало, только отец провианта стал меньше получать, да и этот не весь отдавали: все обсчитывали.

У отца бал покос. Летом, в страду, он гнал нас всех на покос и давал там по литовке. Любо

было мне косить траву. Машешь литовкой направо да налево и смотришь, как отец ловко да бойко косит и ругает нас, что мы литовки тупим о кочки да деревья. На тринадцатом году я ногу порезал литовкой, и теперь она болит к ненастью... Сена у нас много накашивалось, и мы лишнее продавали в город.

Братьев Семена и Тимофея взяли тоже в работу на пятнадцатом году. Они до восемнадцатилетнего возраста кучонки жгли, а на восемнадцатом году Семена сделали лесным сторожем в той же дистанции, где был и отец, и он скоро женился, а Тимофея послали тоже сторожем верст за тридцать и там отвели ему землю для дома и дали покос, и он тоже женился. Сестра Агафья ушла в стряпки и вышла замуж за кучера, а на Пелагее женился полесовщик Емельян Сидоров. В нашем доме остались только мать с отцом да Семен с женой и я. Подумаешь это: куда делась такая семья? Давно ли, пяти годов нет, в одной избе жило одиннадцать человек, а теперь всего-навсего пятеро... От Семена опять пошли дети, опять стали прибывать новые люди, опять началась возня...

На шестнадцатом году я уже хороший был работник отцу. Заставит он меня дров нарубить - живо нарублю, складу в телегу, увяжу и домой привезу. Едем мы с ним домой, увидит он большое да широкое дерево и говорит:

"Ну-ко, Иван, свали это дерево! А я вот то!.." Ну, и срубим и домой привезем. На семнадцатом году меня заставили кучонки жечь. Нарублю я дров, складу их в кучу, обсыплю землей, а для дыма отверстие сделаю и зажгу внутри. Прогорит это часа два, я взойду на кучонку и давай топтать. От этих дров только угли оставались. Угли эти возили на фабрику. Не нравилась мне эта работа; выпросил отец меня у начальства в лесные сторожа. Сначала меня не заставляли стеречь лес, а заставляли рубить дрова на лесничего да в казну. За это я получал на себя по два пуда провианта и несколько копеек в месяц жалованья. Стал я ходить с отцом по лесу и учиться службе. Обязанность отца была легкая: он ходил по своей грани или спал в балагане - и редко ловил порубщиков, потому что в его стороне порубщиков было мало. Порубщики были люди бедные, наши же городские жители - мастеровые; были и такие, которые промышляли себе деньги воровским лесом. Эти люди знали отца вдоль и поперек и рубили лес в том месте, где они надеялись уехать так, что их не поймают. Да и сам отец попустился следить за порубщиками. Он и по лесу ходил редко, а больше спал, и если заслышит, что кто рубит лес, да кажется, что далеко, - не пойдет, а если близко да днем - он пойдет со мной в лес; там его поколотят, и мне достанется, и мы без всего уйдем назад; а другие сторожа были далеко. А если порубщик был трус, отец брал деньги и пропивал их. Он говорил в это время: "Слава богу, послужил. Пора бы и на покой, да года не выслужил. Денег мне теперь не надо: сыновья накормят..." Было у него ружье казенное, да оно без употребления висело в балагане. И стал я справлять службу такую же, как и отец. Лес был разделен на площади, и мне назначено было ходить по одной делянке, на грани по восточной стороне, верст на пять; рядом, по другим делянкам, были другие сторожа: мой отец и еще двое наших соседей. У каждого из нас был балаган, а на дороге кордон, где жили двое полесовщиков - один старший, другой младший, - и заезжали объездчики, которые наблюдали только за нами и объезжали лес. Лесничий к нам ездил раз в месяц и драл нас всех за то, что находил лес вырубленным. Помощник его да подлесничие ездили каждую неделю; но их полесовщики поили водкой и давали им денег. Жизнь в лесу была хорошая: ходи либо лежи, только скучновато, и ответственность большая. На кордоне было лучше наших балаганов, потому, значит, что там изба была устроена с полатями, печью, и окно настоящее было. Полесовщики редко выходили на дорогу, а сидели в избушке или спали, и оттого порубщики часто провозили лес. Объездчики были нашими начальниками, но им давали денег. Я был тогда молод, но бойкий парень. Как только услышу, кто-то рубит лес, сейчас в лес, и топор с ружьем возьму с собой. Поймаю порубщика, обрублю оглобли и закричу кого-нибудь. Придет другой сторож с ружьем, станет просить денег; тот не даст, мы его скрутим и отдадим на руки объездчикам. За это мне давали награды, и как я часто ловил, то лесничий со мной был ласков и часто брал к себе в денщики. В лесу скучно было.

Ходишь-ходишь, дровец порубишь, выстрелишь в белку или в птицу какую. Зверей у нас не было, а птиц было мало, только рябки. В лесу я познакомился с полесовщиком Степаном Ермолаичем. Славный он был человек, седой уже, весельчак такой. Как начнет рассказывать что-нибудь, только знай слушай. Он все книжки разные читал, светские и духовные. Захотелось больно мне выучиться грамоте от него. До этой поры я ни аза в глаза не знал. А просить его мне казалось стыдно, что такой большой я, а читать не умею. Думал я: где уж мне выучиться, коли отец не знает грамоте. А почему он не знает? Отчего все сторожа спрашивают у Степана Ермолаича: это как, а это почему? Видно, грамота больно тяжка...

Прихожу я однажды в избу. Степан Ермолаич сидит в очках с медной оправой и читает житие святых. Его слушают человека три.

- Что, скучно, братан? - спросил он меня.

- Скучно, дедушка.

- Плохо.

- Ты о чем читаешь?

- Да как святая Екатерина мучилась.- И стал он мне рассказывать, как она мучилась.

В это время я не утерпел и сказал:

- Как бы это мне научиться да все знать?

- Научиться можно, а все знать нельзя.

- Нет, уж мне не научиться.

- Только прилежание имей - выучишься. Я сам на двадцать первом году выучился.

- Научи меня, дедушка!

- Ладно.

Ну, и стал он учить меня так. Взял какую-то книжечку и стал показывать буквы и говорит: вот смотри, как эта буква напечатана, а эта вот иначе, тут опять так. Вот, к примеру, возьмем: "изба". Вот тебе и, вот земля, вот буки, вот аз. Потом рассказал мне, сколько у нас букв всех, пересчитал и мне велел запомнить. Часа три он мне толковал азбуку без книги. Я половину запомнил; как пошел к своему балагану, все твердил: аз, буки... а как лег спать, все перезабыл. Ночью я то и дело просыпался, так у меня и вертелись на языке аз да буки. Когда пробудился, половину вспомнил и стал отыскивать в книге. Много было в ней букв, много походящих одна на другую. Долго я старался отыскать избу - не нашел, а нашел только бог, они. Бога я знал, а они никак не мог понять, что за штука такая. Попалось мне колесо - ну, это знаю, попалось добро - не мог понять. Пошел опять к старику. Растолковал он мне все как есть. Так я учился полгода, а в год совсем выучился. Стал у него просить книжек и читал. Потом, когда я бывал у лесничего, правил должность денщика, времени свободного много было; стал просить у него книжек; он, спасибо, давал. Лесничему я понравился, и он велел учиться мне писать. Писать меня учил тот же Степан Ермолаич. Только сам он плохо писал. Все-таки я и писать умел. За это и за то, что я был исправен, и за то, что старался всячески угодить лесничему, он меня полесовщиком сделал, дал денег на лошадь и послал на кордон в другую площадь. Вот, значит, ученье мне помогло: чином повысили. Стал я копить деньги от доходов и покупать старые книжонки на рынке. Купишь и читаешь; хоть дрянь, а все лучше, чем сложа руки сидеть. И узнал-то я от книг больше и удивлялся, как это я так скоро выучился. А все спасибо Степану Ермолаичу. Славный он был человек, дай ему бог царства небесного. Умнеющая голова был. Только - не тем будь помянут - с женою не жил в ладах.

Жена жила в городе, детей имела, а он на кордоне жил со вдовой мастерской, Анисьей Панкратьевной. Не любила ему жена, хотя и молодая была баба, красавица, на коей он в третий раз женился, потому, значит, что она лесничему просто прислуживала.

"А это так было, - рассказывал Степан Ермолаич. - Приехал к нам новый лесничий, не молодой уж, холостой. В это время я был женат третьим браком и как раз в день его приезда дежурил у него. Только, значит, он переночевал и говорит мне: "Послушай, любезный, не знаешь ли ты такой женщины, которая могла бы мне рубашки вычистить?" Я говорю: "Насчет этого не сомневайтесь, ваше благородие, я жене своей отдам". - "Умеет ли твоя жена чистить белье?" - "Отчего не умеет, ваше благородие". - "Ну, так ты ее пошли ко мне". Послал я жену к лесничему, ну, а там и пошло; стал он ей денег давать да чаем поить, а меня на кордон послал и не велел оттуда выходить. Я и говорил ему, что, мол, ваше благородие, у меня дети. А он и говорит: "Черт ли мне в твоих детях? Ты слушай, что тебе приказывают..." Я опять и говорю: "Да ведь, ваше благородие, жена моя вам не пара, вы не имеете права обижать меня..." Он и говорит: "Если ты еще поговоришь, я вздуть тебя велю..." Ну, я так и ушел на кордон и жене попустился, потому, значит, жаловаться некому, а коли пожалуешься - хуже будет... Была у нас гулящая баба, молодая; ну вот, я ее и подговорил и стал жить с ней, потому, значит, без бабы нашему брату нельзя жить..."

С Анисьей Панкратьевной Степан Ермолаич жил пять лет, до самой смерти. Я знал его жену и дом и с детьми игрывал. Насчет жены все наши мастеровые толковали, а ей нипочем было. Дети Степана Ермолаича, постарше, были взяты в работы, а помоложе - росли так же, как и я, только часто голодом сидели от непорядков матери и воровством занимались.

Не нравился мне один объездчик, Филатов. По его милости часто лесничий наказывал нашего брата, полесовщиков да сторожей, потому, значит, он фискалил лесничему. Придет, например, ко мне в избушку и говорит: "Что ты, Иванов, не ловишь мошенников? Я сколько сегодня видел, как они с дровами ехали. Покажи книгу?" У нас велась в избушке книга, в коей мы записывали, сколько тогда-то из леса увезено дров да бревен. Если дашь ему денег - ничего, а если нету - он лесничему пожалуется; придет подлесничий или сам лесничий и передерет меня и прочих рабов божиих. Меня он крепко недолюбливал за то, что я не кланялся ему, и хотя я исправно вел себя, но часто меня драли, неизвестно за что...

На девятнадцатом году задумалось мне жениться. Скучно стало одному жить, да и куда ни посмотришь - все женатые; на что и товарищи мои, с коими я маленький играл, - все переженались. Была у меня на примете девка Офимья, бойкая такая была. Хоть она и некрасива была, а нравилась мне: привык я уж к ней, потому, значит, маленькие мы вместе бегали, а жила она с матерью вдовой и двумя братьями, женатыми, против нашего дома. На что, кажется, я уж парень был толковый, а от шалостей все еще не отставал. Попадется это навстречу Офимья, я ее за бок ущипну, а она подлецом меня называет; несет она воду, я ведро брошу на землю, она в спину меня коромыслом колотит... Разные разности я с ней делал.

Один раз, летом, она попалась мне навстречу - нитки на палке несла на реку Мельковку. Я подошел к ней и ущипнул ее руку.

Она заругалась:

- Я то, варнака! Что ты балуешь? - и она ударила меня палкой. Я ее опять ущипнул.
- Да что ты, в самом деле, за разбойник такой! - Она плюнула мне в лицо.
- Экая ты толстая! Ишь какая жирная.
- Типун бы тебе на язык! Чтой-то, Ванька, от тебя прохода пот?..

- А выходи за меня замуж, и проход будет!

- Вот уж! за разбойника экова!

Ну, и стал я уговаривать ее, как только увижу ее. Согласилась. Она жила в бедной семье, и там ее постоянно корили чем-нибудь, называли дармоедкой и заставляли делать за всех.

Сказал я об этом отцу; тот поругался, зачем я беру бедную, да как понял сам, что богатых в нашей улице не было, согласился. Ну, дело и уладилось. Брат между тем пристроил к дому еще горенку и жил с женой в горенке; только мне не хотелось жить с ним: жена его уж больно капризна была. Пошел я к лесничему: он выхлопотал мне место за Вознесенской церковью и покос и велел строить дом, а на свадьбу дал три рубля денег.

На свадьбе весело было. А на другой день после свадьбы меня выстегали. Поехал, значит, лесничий леса смотреть и нашел много порубок; ну объездчик Филатов и пожаловался на меня. Меня и потребовали утром к лесничему, а тот в полицию спровадил. Обещался в сторожа сместить.

Скверное было житье моей жене с братом: постоянно ее упрекали голью да ленивой; она жаловалась мне, и я увез ее в кордон. На кордоне мы весело жили. Хорошее было житье с Офимьей. На что и Степан Ермолаич - завидовал мне. Только он не долго прожил после моей женитьбы: уколотили его, голубчика, порубщики. Анисья Панкратьевна после его смерти где-то в стряпках жила, да жила, кажется, с месяц, потом нищею стала.

Жену свою я научил дрова рубить и с ней возил в город к своему месту дрова и лес. На месте сначала маленькую избушку построил, в виде бани, и жил в ней свободную неделю. В ней Офимья хлеб пекла, щи варила, и мылись мы и парились по субботам, а между тем я делал срубы на дом да на погреб, а Офимья землю копала да гряды ладила. Так мы и маялись два года. Сынишко у нас родился; Александром назвали. В два года я с отцом да с женой выстроил себе дом с кухней и комнатой, сарайчик и погреб, а избушка осталась баней в огороде, который мы огородили тыном. И стал я настоящий семьянин, и к дому моему дощечку прибили, что этот дом полесовщика Ивана Иванова. Отец мой со мной жил, да помер через год, как мы вошли в дом, а мать и теперь жива, только живет у Семена, которого она больно любит.

Нашего брата, лесную стражу, часто меняли на разные места. Это так уж лесничему хотелось. Так и я до воли на шести кордонах был и почти всю дистанцию знаю, как свой покос: знаю, где какой межевой столб стоит, где какая речка пробегает, где какой лес растет. Часто я бывал от города верстах в пятнадцати и жил там по месяцу, а дома жил только неделю; часто работал на казну: прикажет лесничий леса нарубить да траву косить, и делаешь с прочими к сроку, а не сделаешь - выстегают: уж такой порядок был заведен, а мы были люди все равно что рядовые солдаты, и делали с нами что хотели. У нас был такой лесничий, что он, кажись, норовил только карман набить. Поймаю, например, я его порубщиков. Они выругают, приколотят меня и говорят, что лесничий велел рубить. Пойдешь к лесничему, станешь жаловаться на порубщиков, а он тебя же и выругает: "Какое дело тебе, скотина, до такого-то? Я велел и только..." А лес такой, из которого он сам никому из нас не приказывал даже на себя рубить, не только что отпускать по билетам. Или посмотришь на билет того, кто хочет рубить лес. На билете написано чернилами: отпустить по закону столько-то и денег столько-то взять следует, - а на боку написано лесничим, карандашом: отпустить ему столько-то бревен и не заносить в книгу. Это, значит, он с богатыми людьми сам дела имел и деньги себе брал. Вот и мы, глядя на лесничего, спускали лес за деньги и сами продавали. Потому мы это делали - жалованье было маленькое, да и то часто не давали, или если давали, так мы делились с писарем лесничего да объездчиками, а те - с лесничим. А продашь дров да бревен, и поправишься. За нами некому было, кроме лесничего, следить, а если не дадут деньги порубщики - ничего не сделаешь. Они же пойдут к

лесничему, дадут ему денег. Тем и кончится все. А если представишь кого-нибудь к лесничему, да тот бедный - его под суд упекут, да и ты попадешь под суд. Вот, например, я уже по двум делам попался и по одному в подозрении оставили. По первому делу я так попался. Привел я порубщика к лесничему, стал лесничий просить с него денег, а у того нет. Началось следствие. Стали смотреть место порубки и нашли, что леса много вырублено, а порубщика я поймал только с четырьмя бревнами. Кто вырубил лес? Ну, и потянули меня. Я отпирался, что не видал и на этом кордоне был недавно... И по другому делу - кто-то лес зажег. Стали спрашивать объездчиков, полесовщиков и сторожей - никто не видал. А это часто делают городские мастеровые, для того что пальник дозволяли возить свободно. Ну и оставили нас всех в подозрении.

Плохо было, братец ты мой, наше управление, и при нашей бедности да строгости над нами и наказаниями лесничего мы спустя рукава караулили лес и редко-редко представляли порубщиков к лесничему, потому, значит, боялись, как бы ни за что под суд не попасть. Оттого у нас в редкой площади был один лес, а то все больше лес был только по краям грани, и с вида казалось, что леса много, а внутри одни пни да поле большое. Лесничие нас драли за худой присмотр, а сами наживали лесом деньги и отписывались, что леса много - столько-то-де десятин, чего и не бывало вовсе... Подлесничие мошенничали с объездчиками, сами продавали лес и делились с лесничими. А главный лесничий хотя и бывал в лесу редко, но лесничие умасливали его.

Под конец доходов у нас мало стало, потому порубщики платили мало. Мы брали со всех от рубки леса по закону и по своему разуму, а все-таки денег у нас не водилось, потому, значит, у каждого было большое семейство и мы любили изрядно выпить.

Все мы, наша братия, жили в своей улице дружно и часто менялись временем работ. Любил и подраться и пьяные не спускали никому.

Скажу я тебе, братец ты мой, еще про жену свою. Четыре года она была у меня золото баба: такая работающая да послушная - любо, а потом сбилась с панталыку. Придешь домой, везде разбросано, двое ребят плачут, а она лежит на кровати и корове, что есть, сена не хочет дать и не слышит, как та у крылечка шею чешет да мычит. Ну, я изругаюсь, она тоже. Спрошу есть - она ни тпру, ни ну! "Сам, говорит, доставай, а я нездорова..." Только выйду я из дома, пройду немного по улице, обернусь - и вижу: моя Офимья бегом бежит в Терентьев дом. А там жил молодой мастеровой Терентьев, женатый. Я, конечно, ничего. Только досадно, зачем дома у ней непорядки?.. Чем дальше, тем хуже, а один раз я увидел, как Терентьев выходил из моего дома... Ну, я поругался маленько, побил ее за непорядки и пошел к соседу на именины. Там, слово за слово, речь дошла до меня. Один хвастался своей женой, другой укорял; ну, многие передрались и сказали мне: "Ты, брат, Иваныч, смотри, бей жену. Она у тебя того-с!.."

- А что?

- А ты не знаешь?

- Она у меня отбиваться начала, братцы, изленилась.

- То-то и есть. Она, брат, с Терентьевым таскается... Я рассердился, чуть было не расцапался с ними. А один сказал: "Я, брат, сам видел часто, как он по ночам к ней ходит. Ты вон, смотри: Терентьев стоит у твоего дома. А почто его жена вон у ворот стоит и ругается?"

Вышел я на улицу. Жена Терентьева ругает его всякими словами и жену мою поминает. Вот я и прибил Терентьева, а жену свою веревкой отодрал и из дома выгнал. Она было пошла к Терентьеву, ее жена того протурила. Пошла было она к соседям, и там ее прогоняли, потому, значит, наша баталия на всю улицу была. Темно уж стало. Я запер в стойку корову, дал ей сена, лошади овса дал и лег спать в комнатке, а двери запер за крючок. Дети тоже спали. Вот

я лежу и думаю: "Что это сделалось с женой? Ну, чем ей дома не жизнь? Ест она вволю, носит одежду лучше, чем прежде носила, в девках..." Никак я не мог понять, что сделалось с женой. Досадно мне стало, и ее жаль: как она ночь проведет? "Ну, пусть, думаю, потрется ночь на улице..."

Только, братец ты мой, вышел я утром на двор, моя Офимья и дает сена корове. Я повеселел маленько, только молчу да хмурюсь и жду, что будет дальше, - и стал доделывать себе сани. Она подоила корову, печку затопила; потом, немного погодя, смотрю, вышла она на крыльцо и смотрит на меня.

- Иваныч, подь пироги ись,- сказала она мне.

- Не хочу я твоих пирогов!..

- Поешь... право.

- Ты еще отравишь меня.

Однако я пошел. Она эдак ласково с детьми говорит, молоком их поит и мне хочет уноровить. Поставила на стол две тарелки жаренных с говядиной пирожков, молока кринку принесла. Я сел есть, а она у печки возится.

- А ты што, гадина, но ешь? - закричал я на нее.

- Я уж здесь наемся.

Все-таки она села со мной за стол и стала есть, а сама все на меня смотрит и боится, чтобы я ее не свистнул кулаком. Я таки ударил ее по щеке ладонью. Она заплакала и голосит: "Нету мне житья от разбойника! Все он меня бьет..."

- Пошла к Терентьеву!

- Да что ты меня Терентьевым тычешь! На весь город остремил...

Я еще ей задал стряску.

С этого времени моя Офимья ровно шелковая стала. Все это в дому приладит, никаких непорядков нет. А с Терентьевым все-таки имела штуки тайком. Тот, подлая харя, каждый день бил жену; плакала она, бедная, жаловалась соседям, укоряла мою жену. Соседи но кланялись моей жене и говорили про нее разные разности. Так у нас тянулось года три. Я перестал бить жену, попустился; ребят только жаль было: они без присмотра росли да колотушки принимали от нее. Стал я в это время пить, все доходы пропивал, заложил все платья жены, и стали мы жить - а-яй как бедно!..

Одново раза пришел я домой пьяный, прибил жену, выгнал ее из дома, прибил детей, посуду перебил и ушел пьянствовать. Прихожу на другой день домой - нет жены. Только стал я давать корове сена и зашел на сенник, и увидал: висит моя Офимья на веревке... Струсил я, страшно показалось, и жалко стало бабы... Пошел к соседям, обсказал, как есть; полиция пришла. Все дивились, что это такое сделалось с моей женой, и сам я не понимал. Уж не от меня ли она руку на себя наложила? - думал я. Жалко мне ее стало: больно уж я ее бил... Всплакал я, братец ты мой, как повезли мою Офимью и бросили без отпеванья в яму...

Детей у меня было трое. Александру был шестой год, и я его отдал портному в ученики; Петру было пять лет, а Опроксинье два года. Плохо им было без присмотра... Стал я искать себе жену и женился на сорокалетней вдове. Бои эта баба - никак я не могу с ней справиться: бьет меня. На ней уж я женат четыре года, и от нее родился еще сын.

А все жаль Офимьи. Славная она была сначала баба, да подвернулся ей плутина-мастеровой - сбилась она с панталыку и загубила себя. Может быть, и не повесилась бы она, да я уж больно круто с ней поступал. Бить бы не надо... Пусть бы она гуляла... Да непорядки уж больно у ней были... А теперь вот навернулась жена, за все бьет, как пьяный я напьюсь, да говорит: ты думаешь, что первую жену погубил, и всем так будет!.. не на ту навернулся...

Теперь меня уволили из горного ведомства. Вольный я человек стал, уж никто не дерет меня. Не хотелось мне оставаться полесовщиком, да подумал-подумал я: ремесла никакого не знаю, в другую работу идти - много рабочих; так жить нельзя, потому, значит, у меня жена да дети... ну, и остался полесовщиком. Теперь уж жалованье дают, хоть небольшое, да все же можно биться, потому, значит, можно лесу продать да с порубщиков сколько-нибудь сдернуть, а начальство не увидит: оно такое же все, только бить не смеет. Воля, значит. Только все-таки я человек маленький, подначальный, а начальникам о нашем брате и горя мало: хорошо ты исправил свое дело - спасибо не скажет, а худо - обругает, денег не даст, прогонит - и тачай слань...

III. ТРИ БРАТА

Есть у нас старикашка такой: ростом не велик; ходит сгорбившись; волосы поседелые, длинные и постоянно встрепанные, и непременно в них пух от подушки застрял, потому, значит, не чешет он их никогда; лицо у него старое, постоянно красное, морщинистое такое, а веселое, и глаза такие бойкие, да плутовски смотрят. Редкий день его не усидишь у кого-нибудь: то он в шашки играет да ругается, как проиграет шашки, если сухари ему останутся, или все бахвалится: "Погоди уж!.. погоди! я те запроу..." То водку пьет в какой-нибудь компании нашей братьи; то идет по улице да песни подпеваает и с бабами куры-муры строит, то в бабки с ребятишками играет; то рассказывает им, как он жил на свете. Ходил он в разной одежде, какая ему вздумается; тепло когда - в рубахе ходит; холодно когда - старенькой сертучишко, с двумя пуговицами наперед, наденет, да еще сверху халат наденет и опояшется полотенцем или какой-нибудь тряпкой. Шапки у него две: одна какая-то смешная, с одной половиной козырька, из двух сортов сукна, синего и серого, клином сшита, а другая приличная фуражка - с целым козырьком. На ноги он надевает зимой валенки, по-нашему - пимы, кожей обшитые, да и пимы-то эти уж годов восемь существуют, потому на них везде заплатки на заплатках; а летом калоши носит. Дома он ест, да спит, да с маленькими детьми своего сына возится, да с женой сына или с сыном разговаривает, да дровец расколет, во дворе приберет, корову погладит да куриц щупает... Вот этова-то человека и зовут Степан Еремеич Облупалов. Живет он теперь уж годов пятьдесят на свете, и звание его до сих пор - мастеровой. Прежде он портным был. Портничал он не то чтобы заправски, как настоящие портные, а работал один, сам собой, и шил нашему брату гуньки, а по-нонешнему халаты называются, да зипуны - и подчинивал их, а доски над воротами или над окнами, как делают портные, с нарисованными ножницами, у него не было. Шил он не очень красиво, да крепко. Иная жена наша лучше бы его сшила: ведь шьют же они себе да нам рубахи, только, значит, халаты шить они сноровки не знали. Сошьет это Степан Еремеич халат или зипун; ну, сначала и кажется, ровно ничего, так и следует, и когда наденешь, халат на халат походит, а через месяц смотришь - туда дыра, там дыра, подкладка отшилась, да все по швам, а не то чтобы как-нибудь, нечаянно, сам изорвал о гвоздь или что иное. Вот и пойдешь в этом халате к Степану Еремеичу и кажешь ему, да и говоришь: "Вот они, дела-то твои, разъехались!" А он и

смеется: "Ишь ты!.. оказия какая. Ишь чтостряслось!.. Ну, оставь - починю: неси тожно на шкалик..." Наша братья потому давала ему шить, что в нашей улице он один был портной, а других городских портных мы не любили, потому, значит, плуты они - никогда нам обрезков не давали и брали дорого, а Степан Еремеич был свой человек, брал дешево и обрезки отдавал сполна; а поколотишь его - ничего, не осердится. Ничего и то, когда он чей-нибудь халат в кабаке заложит: поколотим, а жаловаться не ходили и выкупали халаты. А халаты, скажу я тебе, у нас вещь необходимая, самая заправская, украшение то есть, потому, значит, мы шинели да пальты не носили - не по нам, не любили: плюнем да бросим, даром но надо; халат - одно слово халат: и в будни и в праздник надеть не смешно, потому, значит, таков уж обычай, и в нем нашего брата за версту видать. Вот что! Так вот и занимался Степан Еремеич, и деньги получал от нас, грешных, и в долг шил, после водкой поили, а в казну не работал - нанимал. Только денег у него не водилось - пропивал. Больно уж он зашибал.

Кроме портничества, он еще камнями промышлял. Был у него такой человек - приятель, который покупал в заводах да рудниках или сам находил камения разные. Вот эти-то камения он продавал в городе разным людям, да и Степана Еремеича ссужал ими, а Степан Еремеич из них печати да бусы выделывал и гранил их на разные манеры, чему, как он сам говорит, его еще отец выучил. Печати он продавал на рынке; топазовые по сорока копеек, а яшмовые по тридцати копеек за штуку, а бусы по рублю за сто. И эти деньги у него редко шли впрок - в кабаке с приятелями пропивались. Все же таки он жил лучше прочих соседей, потому, значит, у него деньги водились постоянно, а знакомых урядников у него было много, да один квартальный ему как-то родной приходился.

Вот у этого-то Степана Еремеича и было три сына: Елисей, Тимофей и Максим, а дочерей бог не дал. Росли они как водится, росли, как и я и все прочие ребята, и я с ними постоянно играл на улице. И выделывали же они разные штуки да колена! Все они ребята удалые были: держи ухо остро, не клади ничего близко - все перемущтруют да испакостят; не попадайся чужой навстречу... Бестии продувные были, и никакие страхи отцовские да людские их не пробирали... И как это подумаешь: откуда у них набиралось разных выдумок да сметливости? - удивишься только. Чего-то они не делали! - и наша братья, ребятишки, от них не отставали. Особенно боек был на разные штуки Елисей, самый большой. Он у нас коноводом был. Только скажет: "Ребя, айда коров мучить!" - и побежали за город с гиком да лаем, и гоняем коров, бросаем в них камения да палки, и любо нам, как они, голубушки, скачут, хвосты задравши, да задние ноги высоко поднимают... Или скажет: "Ребя! айда на площадь мальчишек бить!" - и побежим на площадь, поджидаем школьников, а как завидим их - бросимся, приколотим. Елисей силен был: он десятерых на землю клал. Много было на нас жалоб, да ничего с нами не сделаешь: мы еще хуже становились. Дома Елисей ничего не делал - ленив был. Тимофея на девятом году отец и отдал в ученики к одному мастеру, столяру и резчику, по контракту, без платы, а только мастер должен был одевать и кормить Тимофея; а Максим приучался к работе и на седьмом году ездил уже с отцом в лес по дрова и помогал кое в чем матери.

Елисей не слушался и не боялся отца, хотя тот и бил его. Он на тринадцатом году стал водку пить и потягивал у отца камения, за что отец водил его с казаками в часть и там драл. Но Елисей после каждой дерки выдумывал разные штуки и пакостил отцу, Степан Еремеич гнал его из дома, а он не шел. Наконец-таки, на пятнадцатом году, забрали Елисея на работу в гранильную фабрику. Елисею самому хотелось работать, ну, и стал он робить там каждый день, а ночью был дома.

У Максима был крестный - квартальный, тот самый, что приходился родней как-то Степану Еремеичу, а как у квартального были тоже знакомые люди, горноправленские и другие чиновники, потому, значит, квартальный, по-нашему, был важная птица в колеснице и командовал не только над нами, но и над прочими жителями города, то он и накачал Степану Еремеичу просьбу к горному начальнику, что-де я прошу ваше высокоблагородие взять моего сына Максима в училище, - и разные разности тут приплел и сам стал просить горного

начальника. Скажу я тебе, братец ты мой, что хотя по нашему положению и было установлено так, чтобы дети с осьмилетнего возраста брались в школы, только это редко бывало, потому, значит, что в школы брали детей богатых отцов да кто хлопотал об этом или был знаком с каким-нибудь начальником; да и бедные мастеровые и рабочие сами не отдавали детей в школы, потому, значит, хлопотать не стоит, да и сын дома больше научится работе, а там избалуется. Вот я так и просил было лесничего, чтобы он похлопотал, чтобы детей моих приняли в училище на казенный счет, да он мне сказал: "Не с твоим, говорит, рылом туда соваться". Ну, и плюнул я, не стал просить больше. А у Степана Еремеича квартальный был, протекция, значит; Максима и приняли в окружное училище на казенный счет и заперли его там.

Теперь расскажу я тебе по порядку, как жили братья Облупаловы. Начну со старшего. Елисея.

История об Елисее небольшая, да пакостная. В гранильной фабрике он служил года четыре, и был уже два года женат, и сынишко уж был. Работа тут была легкая, и много делать его не принуждали, а заставляли приучиваться сызподтиха. Сначала - он таки работал ладно, а потом связался с каким-то работником. Пойдут они из фабрики и напьются дорогой, а пьют на то, что стянут что-нибудь из фабрики и заложат в кабаке. Придет Елисей домой и давай жену за волосы таскать. За тое Степан Еремеич пристанет. Ну, Елисей и уйдет куда-нибудь, и ищи его, семи собаками не разыщешь. Жена стала жаловаться начальству, мастерам да горному начальнику; сначала бабу гнали, а потом отодрали Елисея и усилили на него работы. Елисей не унялся: возьмет какой-нибудь камень и вытащит его ночью за ограду, а как пойдет домой часу в шестом, и уволокет его домой, а потом свезет к одному торговцу, плуту, который воровские вещи продавал. Смотрели-смотрели на Елисея, да и определили его на монетный двор на такое занятие: днем караулить на плотине да выпускать и опускать с прочими воду на фабрику, а ночью печки топить. Пировать уж тогда не на что ему было, разве кто свой товарищ из жалости попотчует. Часто трезвый был и дома; когда бывал «трезв», вежлив был со всеми и жену не бил. Она баба добрая была: когда он не приходил домой ужинать или обедать, она сама носила ему хлеб и молоко, а когда и пироги с говядиной да пельмени носила... Пословица говорит: побывает деготь в посудине, уж не выведешь его - так и Елисей наш был. С плотины он крючья срывал да гвозди выдергивал и продавал их все тому же торговцу, а из фабрики тайком медь таскал. Вот его и заметили раз, как он гвозди выдергивал; сказали начальству. То приказало отодрать и сослало в рудники, на какие-то заводы. Увезли его туда с женой и детьми и заперли в рудник. Он таки и оттуда удрал да прямо к отцу. Верно, родимая сторонushка тянула. Ну, тот и раньше ему не рад был, а теперь, как узнают про Елисея, и ему несдобровать; сказал кому следует, и Елисея опять спровадили в тот же рудник. Не унялся Елисей, опять убежал, да и стал грабить добрых людей. Поймали его, сокола ясного, судить стали, а потом сюда в острог привезли. Люди говорили, что ему не миновать каторги. Отец так и попустился ему, хоть и досадно было и стыдно добрых людей за сына. Однако Елисей из острога убежал. Хорош молодец! Стали его искать, долго искали, а не нашли, так и попустились, только сквозь строй бедных солдат прогнали. Вот что наделал, мошенник!

Прошло так года три с небольшим. Нет о нашем Елисее ни слуху ни духу. Жена его приехала опять к отцу, только без сына, умер, говорит; только не верится. Куда ей одной с ребенком маяться: взяла, поди, его, родименького, прихлопнула дорогой, и баста... У Степана Еремеича она не стала жить, а пошла к своей сестре. Матери да отца у нее в те поры не было. Стала торговать с сестрой калачами да пряниками около Гостиного двора - и теперь сидит то у плотины, то у главной конторы, то против горного правления, на самом виду, оттого, значит, - она сама говорит: "Не увижу ли я своего мужа да хорошего человека..." А Елисеюшка, братец ты мой, живет да живет себе в Шарташе, в четырех верстах от города! Диво! А пожалуй, и дива-то нет никакого.

В четырех верстах от города есть Шарташское горное селение; оно застроилось одной

улицей, по берегу озера, на две версты. Прежде это озеро было огромное и глубокое, а теперь оно имеет в ширину и длину где четыре, где три, а где и две версты. Глубина есть и на пять сажен. С самого начала в том месте, где теперь селение, был, давным-давно, раскольнический скит, и люда тут было много всякого. Потом сюда переселили с заводом непременных работников и свободных сельских обывателей, за разные разности и за раскол. Вот люди-то эти и стали тут жить да плодиться, и селение названо Шарташским. Из них немногие работали на казну, а большая часть жили свободно; иные платили повинность деньгами, а иные и так пробивались. Жить им тут можно было. В озере было пропасть рыбы, рыбу эту они ловили и продавали в городе; продавали разные поделки: кадушки да ведра и прочее. Кроме этого, все эти жители были злой народ, страшные разбойники. Лет двадцать тому назад по дороге в Березовский завод ночью боязно было ездить. Потому, значит, боязно: поймают какого-нибудь барина или купца, завяжут ему глаза, приведут в дом, разденут догола, зарежут и бросят с камнем в воду. И поминай как звали; ищи в воде, когда озеро тогда сажен восемь было глубины и ширины верст на десять. А с гостями-богачами или полицейскими чипами они так делали: накормят и напоят, что мое почтение, и спать уложат, а из дома не выпустят, - так сонному и петлю на шею: задавят и бросят с камнем в озеро или в бочку да посолят. Бочки они хранили в потаенных местах, в подполье, и места эти и воровские вещи никто не мог найти... Производить следствие боялись, потому раскольники сразу видели городских, которых они считали врагами и притеснителями, и держали нож наготове и за одного все стояли (Мне рассказывали один случай. По поручению главного начальника один чиновник должен был найти мертвые тела в селе. Чиновник этот имел сведение, что один шарташец больше всех занимается этим. Раз вечерком приехал он в село к этому шарташцу в виде купца, а солдатам заказал быть на улице, неприметно, и по свисту или крику его броситься в дом. Шарташец угостил его на славу и велел ложиться спать, а окна затворил ставнями и припер железными болтами так плотно, что из дома не было никакой возможности выйти. Увидевши, что гость не раздевается, шарташец, наконец, велел ему раздеться и лечь. "Я не хочу спать", - сказал гость. "Как хошь. Только уж теперь не выйдешь". "Как?" - "Так. Надо же тебя осолить". Шарташец вышел, затворил плотно дверь. Чиновник остался в темноте и крикнул солдат. Все окружили дом, разломали двери и окна и арестовали шарташца. Когда стали его спрашивать: нет ли тел? - он запирался. Все углы и места в доме были перерыты и пересмотрены, и только в чулане усмотрели ходы в подземелье. Там нашли шесть бочек с телами. На спрос, зачем они тут? - шарташец ответил: "Продавать хотел за мясо". - Примеч. автора).

Наконец начальство строго стало следить за шарташцами, а главный начальник велел выпустить озеро; но они все-таки сделали плотину, и озеро хотя и убавилось, все-таки осталось, и в нем есть рыба. Теперь по дороге смирно, только разве у кого-нибудь корова потеряется, а потерялась корова - кроме шарташцев некому упятить. Ночью, пожалуй, не ходи один по заводу - ухлопают. Все, человек с тысячу, они раскольники, а теперь и городские купцы к ним ездят молиться в дома. Теперь живут там даже городские мещане и купцы. В селе хотя и есть единоверческая часовня, да в нее редкие ходят, потому, значит, у них в домах поделаны молельни, где общие, где в одиночку. Занимаются они теперь колотьем коров и продают в городе рыбу и разные вещи. Только между нашими городскими жителями есть много таких, которые не едят шарташскую рыбу, а едят с Верх-Исетского озера (Озеро это имеет около десяти верст длины и версты четыре ширины. Оно называется прудом, потому что в одной версте от города запружено плотиной Верх-Исетского завода г-д Яковлевых. Из озера этого, посредством речки, накапливается вода в городской пруд, имеющий длины более версты, и из этого-то пруда, через плотину и через монетный двор, выбегает река Исеть. - Примеч. автора). Шарташскую рыбу они называют поганой, потому, значит, по-ихнему, что-де там, в озере, и теперь на дне тела тлеют. Ну, а хорошие да небрезгливые люди едят и шарташскую, - еще сами теперь рыбачат. Прежде было в славе соло, а теперь в славе озеро. Против села, на другом берегу озера, построено семь избышек с подвалами. В них живут, зимой и летом, заправские рыболовы - мастеровые и мещане - и рыболовят неводами, мережами, мордами, а иногда и удочками. Там пропасть окуней и карасей, по

фунту и больше каждый. Каждый рыболов имеет двадцать или тридцать лодок. На левой стороне от этих избышек есть на берегу избышка шарташца; только туда городские не ездят, и шарташцы не любят городских, сердятся, что они ихнюю рыбу удят, и даже драки с рыболовами заводят. Летом на озере весело, потому на праздник да в праздник или в воскресенье там бывают городские чиновники, купцы и прочие, и барыни разные, перебивают нарасхват лодки, пьют на берегу чай и делают разные разности. Лодки отдают на сутки за тридцать копеек, а за полсутки по пятнадцать копеек; прежде и по рублю брали. Любо посмотреть в субботу или в праздник, в хороший день, на берег и на озеро. На берегу, около избышек, народ копошится, суетится, бегают, кто рыбу торгует, кто жаркое из карасей ест, кто уху варит - слюнки только текут! Извозчиков тут пропасть, кислых щец сколько, даже орехи есть. Собаки лают, и кошки бегают. А на озере видимо-невидимо лодок, песни непременно задирают где-нибудь, и как разносится по воздуху! Хорошо... А ночью огней двадцать горят на берегу, сотни людей дремлют или что-нибудь рассказывают и дожидаются, когда солнышко взойдет... Ей-богу, хорошо!..

Заговорился уж я больно, братец ты мой! Нельзя, место уж такое. Горожанам нашим тут и отдых, тут и развлечение, тут и жизни много, и поплавать есть где, а в городе скука.

Годов эдак восемь или семь, не помню, корова у меня пропала. Жена говорит, в поле выгнала; искала-искала, все дворы обегала, нет коровы. На рынке, говорит, была, все лавки обегала, все головы коровьи осмотрела - и там нет... Ну, и заплакала моя жена. А для нашей бабы корова все единственно, что мужчине без лошади быть. В корове у нее все богатство и вся утеха. А корова-то была какая славная да тельная, ростом высокая, полная! Рублей пятнадцать серебряных стоила, и вдруг как ключ в воду канула... Эко диво! Жалко мне стало жены, и самому досадно. Пошел к соседям, порасспросил сам хорошенько: не видал ли кто буренку? Нету. Ну, и пошел в Шарташ, под видом благочестия, что я, мол, корову хочу купить, а не то мясо, прямо стягом, парное. Вот обегал бойниц с десять - нету. "Эх, досада!" - думаю. Пошел по другим. Только в одном месте хожу это около коров, поглядываю на живых, как они, голубушки, тоскливо мычат, - жалость! да на заколотых, да на людей, как те, озорники, кожу сдирают, - и заприметил знакомое лицо. "Что за дьявол! - думаю, - Елисейко не Елисейко, а рожка, кажись, его, только бородой оброс да на лбу волоса подстрижены. Оказия, - думаю. - Как он сюда попал? Неужели уж раскольником стал?" Не утерпел-таки я, подошел к нему и говорю:

- Здорово, Елисей Степаныч!

Он как окрысится на меня да рявкнет:

- Какой тебе Елисей! Моисея не хочешь ли? Покажу...

У меня ровно дух в пятки ушел. Испугался я, а не трус. "Тьфу ты, дьявол! - думаю... - Эк он..."

- Аль не узнал меня? - спрашиваю его.

- Кто ты: городской или здешний? - спрашивает меня другой работник.

- Городской, - говорю.

- Ну, и проваливай, покуда цел.

Я опять-таки пристал к Елисею: все мне подделаться к нему хотелось, - и говорю:

- А ведь вместе прежде бегали?

- Знать тебя не знаю... Бегали! Заставлю ужо я тебя бегать.

Ну, думаю, тут дело дрянь, надо убираться. Пошел из бойницы и думаю: сказать про Елисейку начальству или нет?..

- Эй ты! черт! - закричал на меня Елисейко.

Я остановился.

- Куда ты теперь?

- В город.

- Небось жаловаться? Видишь это! - И он показал мне нож, коим коров колют.

Я и думаю: действительно, пожаловаться худо, его-то я погублю, а он мне - товарищ; да и не погубишь если,- потому, значит, он опять убежит в Шарташ,- так сам себя и сгублю, потому все эти шарташцы больно мстительны и за своего брата так стоят, что на дне моря сыщут врага.

- Экой ты какой,- говорю я ему:- почто же я на своего товарища скажу? Да я, если кто на меня скажет, тому голову сворочу...

- Ну, так слушай. Придешь в город - молчи. Значит: нашел - молчи, потерял - молчи.

- Уж не скажу, не беспокойся. Вот тебе рука.- Ну, и подал я ему руку, и он дал мне свою, всю в крови замаранную.

- А коли скажешь - беда, не скажешь - спасибо... Ну, теперь ступай.

- Вот что,- говорю я ему,- сделай ты мне, братец ты мой, службу. Сам ты знаешь, человек я бедный, а у меня корову угнали с поля.

- Какая твоя корова?

Я рассказал приметы.

- Ну, ладно. Приходи уже сегодня ночью на нашу дорогу и жди в одной версте от села, и корову получишь. Только слово помни!

Я сказал спасибо и побожился, что не скажу. Прихожу домой и говорю жене: не нашел коровы. А она тем временем к ворожее ходила, гривну меди издержала. Ворожея, говорит, сказала: "Твоя корова в хороших руках, только не найдешь, потому, значит, и купцу продана, и через неделю найдешь этого купца, да он не отдаст". Ну, я бабу свою выругал, что только деньги даром тратит: мало ли что эти ворожеи врут? А жена меня выругала. Вот часу в десятом ночи и пошел я к Шарташу и спрятался в лесок. Жду-пожду, час и два,- нет коровы. Досадно стало, что я топора с собой не взял, хоть бы лесу порубил. Покуриваю махорку и бранюсь: верно, леший, обманул. Все-таки стал ждать и задремал было. Только слушаю, хрустит где-то. Встаю и вижу: корова недалечко стоит. Я пошел. Моя корова, а из людей никого нет. Корова как увидела меня, так и пошла ко мне и мычит жалобно - узнала, значит, хозяйина; чувствовала, верно, себе конец. Ну и пригнал я ее домой, обрадовал жену; пожалела она гривенника и выругала позаочь ворожею. А про Елисейка так никому и не сказал. Не мое, значит, дело. Значит, нашел - молчи, потерял - молчи, шито да крыто...

Все бы это еще туды-сюды, да вот я, хороший человек, хотя и много книг разных вычитал, а понять не могу, нужды нет, что не молод уж: отчего это люди не могут жить так, как должно? По-моему, живешь ты да худо тебе, ну, и старайся, чтобы не было худого, и сам не делай худого; хорошо - и слава богу. Так нет. Елисейко, как видно, там хорошо жил, потому раскольники хорошо держат беглых: мучениками да святыми их считают; мало, вишь ты, ему

этого было; поясница у него чесалась... Пропавшая, право, голова... Вчуже жалость берет...

Ездил туда каждое воскресенье из города купец один. Купец этот в городе незнатен был, жихимора такая был и с женой-то своей, потому, значит, денег у него чертова пропасть была, а отчего была - бог знал да он сам. Вот у этого купца и жил кучер да стряпка - мастерская баба, как-то еще родней приходилась Степану Еремеичу. Кучер да стряпка между собой таскались и вздумали обокрасть купца да и уехать с денежками куда-нибудь далеко и обвенчаться, потому уехать - у кучера была жена, да он не жил с ней. Раз, летом, Елисейко и подговорил кучера вместе украсть деньги. Уж как согласился кучер - но знаю, верно, потому, что ему стряпка надоела и он ухлопать ее захотел. Ну, вот, как только кучер привез в село купца с женой - и марш к Елисейку, а тот мигом запряг лошадь в телегу - и марш с кучером в город к стряпке. Стряпка узнала Елисейка, заартачилась было, что тут еще третий; ну, они, соколики, не говоря ни слова, и ухлопали ее. Потом пошли в комнаты, разломали ящики и забрали все деньги. Вот Елисейко, не будь трус, и зашиб кучера, тут же в комнате, у ящика,- поделом, значит, вору и мука; забрал денежки и поехал на лошади в село. А когда он выезжал, его многие мастерские видели и узнали. Он струсил было; но доехал только до лесу, отпрег лошадь и верхом укатил в село; там денежки и припрятал.

Ну, как водится, началось следствие, опросы да допросы, пошли догадки, что, верно, шарташец какой-нибудь ухлопал стряпку и кучера, стали соседей спрашивать - ничего не добились, а мастерские молчали, потому, значит, скажи, так засудят: отчего-де не ловили? А им что ловить - не их грабят, да они и не знали, что он грабил, а думали: верно, прощен или в бегах находится - не важность. Своего брата и выдать грешно. Ну, если бы знали, что он убил, тогда бы, мое почтение, сцапали бы, потому, значит, убийство грех великий. Прошло полгода. Елисейко прижался, сидит дома. Но шила в мешке не утаишь. Раз он поссорился с своим хозяином за то, что тот его гнать стал. "Ты, - говорит,- не нашего поля ягода, ступай вон". - "Давай, - говорит Елисейко, - деньги". "Какие деньги?" Ну, завязалась баталия. Елисейко ухлопал и этого раскольника и деньги зарыл куда-то далеко, а при себе оставил тысячу, потом ушел к знакомому раскольнику. Хозяин Елисейка был уважаемый человек беспоповщинской секты, а Елисейко перешел теперь на сторону поповщинской секты; беспоповщинцы пожаловались на него в город и обвинили в убийстве кучера и стряпки, потому, значит, что многие небогатые раскольники знали про это; поповщинцы разругались с беспоповщинцами и сказали полиции: нет у нас Облупалова, а он на той стороне (Дома в селе построены только по одной улице, по обеим се сторонам. На одной жили поповщинцы, на другой - беспоповщинцы, и между ними шла вражда. - Примеч. автора). Однако-таки беспоповщинцы схватили тайком ночью Елисея, завязали ему глаза, связали руки и ноги и привезли в город.

Опять началось следствие. Потянули раскольников к суду - те откупились, и принялись за одного Елисейка.

Стали спрашивать Елисейка: кто ты такой?

- Православный,- говорит.

- Как тебя зовут?

- Не знаю.- Ну, и сказался непомнящим родства. Позвали отца. Отец говорит: "Это Елисей, сын мой".

- Знать я тебя не знаю.

Позвали мать - то же. Никого не признает. Сколько людей перетребовали - не знаю да не знаю, говорит, мало ли лица сходятся!.. Слава богу, что меня не потребовали. Я в то время в лесу был, на кордоне, и больным прикинулся.

Стали спрашивать про убийство: не знаю ничего; а старика раскольника не я, говорит, убил - меня дома не было. Ото всего отперся, от всех оттрекся. Вот так человечек! Не видывал я такого, да и не видать уж, - времена нынче не те.

Все-таки как он ни отпирался, а приговорили его, как настоящего разбойника, ко ста ударам плетьюми и в каторжную работу на веки веков. Назначили день, когда его будут наказывать на площади. Много собралось людей: был тут и Степан Еремеич с женой, и брат Тимофей, и я, и множество знакомых. Всем, значит, хотелось посмотреть на него, каков он будет и что с ним случится. Вот привезли его на дрогах, прочитали приговор; он и говорит: "Знать не знаю, без вины меня наказываете". Антихристом еще попрекнул, как будто и в точь настоящий раскольник. Вот привязали его к столбу, а он и ругается: "Что шары-то пялите!.. Рады смотреть, как люди мучатся!.. Будете, окаянные, во огне гореть на том свете!.." Народ стоит да улыбается, а бабы плачут: не верится, видишь ты, им, что это Облупалов: может, и он, может, и понапрасну. Были тут и раскольники: те верили словам Елисейка и ворчали, что его без вины обвинили.

Вот палач положил его, а он смеется: "Ничего!"

- Я те дам - ничего,- сказал палач и хлестнул его треххвосткой.

- Аля-ля! Жарко! Вот бы тебя пробрать!..- указывает он на ту сторону, где отец его.

Палач хлещет по нем изо всей силы, полицеймейстер кричит: "Шибче! шибче! шибче его, каналью!.." Удар за ударом сыплется на Елисея. Он сначала ругался, крепился, а потом невтерпеж стало...

- Ох, не могу!.. Будет!..- кричит он.

- Дери его, каналью; до смерти дери! - кричит полицеймейстер.

- Уйди, отец!.. Уйдите... Жена...- стонет Елисей. Жалости подобно, как все это было. Отец плакал, мать плакала, жена его тоже; мне тоже жалко было, и я заплакал; многие жалели его, и никто не шел домой...

А он кричит:

- Ваше высокоблагородие! помилосердуйте!.. Матушки мои... Голубчики... Уйдите с глаз... Ох, тошно!..

Отец с матерью ушли домой...

Когда кончил палач сто ударов, Елисея подняли с эшафота едва живого, положили на рогожку и увезли в больницу. Там он прожил только полсутки, ругался, и когда умирал, то, говорят, все ругал кого-то.

Так-то вот кончил с собой Елисей. Бесшабашная голова!.. Ну, да ладно, что умер, хоть не мучится больше, а то бы опять не миновать эшафота. А деньгами его, говорят, стал пользоваться раскольник один, с коим он дружен был и коему сказал, что он дорогой убежит из каторги и с ним уйдет в леса, к одному раскольнику, коего никто из полицейских не мог разыскать, а он свободно ходил по заводу... Может быть, он тогда и почувствовался бы, только вряд ли... Все бы ему несдобровать, потому, значит, уж ему на роду было написано умереть такой смертью...

Тимофей был парень прилежный к работе, смысленный, и потому скоро выучился делать все, что делал мастер и его работники. Мастер любил его больше всех еще и за то, что он не пьянствовал с товарищами и когда получал деньги, то копил их себе и давал Степану Еремеичу. На девятнадцатом году мастер сделал его подмастерьем, помощником себе, и

жалованье большое дал. Стал Тимофей сертук носить да пальто и с нашей братьею важничал. За это мы его не полюбили и прозвали обдергунчиком, потому, значит, не любили мы тех, кто пальты да сертуки носят, а как оделся эдак Тимка, как называли Тимофея Степаныча, мы из див диву дались: значит, гордый стал, заважничал, от нас отдалился; обидно было. Ну, вот он сошелся с дочерью хозяина. А хозяин хотя и любил его, все же считал его своим работником, и дочь метил за одного чиновника, и сговор сделал уж. Только дело это долго длилось, и штука вышла. Сваха чиновника заметила, что у невесты неладно, и как она раньше не доглядела, уж не знаю: на деньги, видишь ты, позарилась. Ну, узнал об этом жених, отказался, просьбу хотел написать, что его обидели. Умен, видишь ты, больно был чиновник, а еще наш, горный. Все-таки взял с мастера ни за что дику пошину. Отец со злости прогнал Тимофея Степаныча, и дочь прогнал. Тоже умен был. В городе и заговорили про это все разное, и Офимье Ильинишне, так дочь звали, нельзя и показаться было на улице, застыдят да приконфузят. Ну, у Тимофея Степаныча были деньги, и он с грехом пополам обвенчался-таки с Офимьей. Свадьба такая скучная была, ровно не свадьба: народу никого не было. Да оно и лучше, потому, значит, никто не видит да не судит, а то всяк лезет и сам не знает зачем. Глупо уж больно, да и смотреть-то нечего; дело обыкновенное. Сначала Тимофей Степаныч к отцу пошел жить. Тогда уж не было в городе Елисея. Ну, стал жить да работать столы, стулья, диваны и разные штуки вырезывал на дереве. Жил эдак года два и подкопил деньжонок. Надоело ему с отцом да матерью жить, ушел он с женой на квартиру и работника от тестя перезвал. Тем временем ему место в городе отвели, строить дом велели, мастеровым его назвали. Вот и стал строиться Тимофей Степаныч. Навозил я ему бревен за тридцать рублей, да камню он еще прихватил и в два года соорудил полукаменный дом, такой, что любо. Внизу он устроил мастерскую и еще троих работников от тестя перезвал, дал им по десяти рублей и кормить стал на свой счет, а у тестя они по шести рублей жили. Вверху было комнаты четыре; там он сам стал жить. Пробойный был парень. Он всячески старался найти работу, делал на отличку, и его завалили. Кроме того, его заставляли работать что-нибудь на гранильную фабрику и монетный двор и мастером назвали. А как четырех работников ему мало было, то он еще кое от кого перехватил, самых лучших да трезвых, и пошла работа. Тимофей Степаныч зазвал и отца с матерью к себе жить, потому, значит, ему экономию хотелось соблюсти: прислуги он никакой не держал, к тому же у него и дети были. Он говорил про отца: "Пусть живет, что ему там делать? За готовый хлеб он и за водой может сходить, а мать стряпать да водиться с детьми может, не великая барыня..." Степан Еремеич этого не слышал, а если бы слышал - не пошел бы к сыну. Он хоть и стар становился, хотя и был сменен его квартальный, а все еще портничал и, значит, не нуждался в сыновних хлебах. Ну, а коли сын просит за водой сходить, отчего не сходить, не уважить хоть бы жены его. Ну, и стал он поживать у сына. Занятие его было в том, что он колот дрова, топил печки, воду носил, в лес ездил да в покос, да детей сына покачает, а портничать уж не стал, - надоело, да и некогда было; к тому же в это время портных везде много развелось, оттого, значит, наши же мастерские да работнические сыновья выучились у разных мастеров и стали работать - кто сообща, кто в одиночку, и работал кто на отличку, кто так же, как и Степан Еремеич. Вот поэтому-то, да как стали мальчишки взрослыми, ему и не давали работы, потому, значит, народ щеголять стал, а Степан Еремеич по старинке шил. В свободное время, особенно после обеда до ужина, он, если не спал, любил с работниками внизу побелентрясить да похвастаться, что он на свете много видов разных видел, много хорошего сделал, лучше теперешнего жил, лучше многих жил. Словом: я-ста - не я-ста, стою рублей полтора.

Сидит это он с трубкой на табуретке или на верстаке и говорит: "Нет уж, брат, шалишь! Вот кто молодец - так это я: что я ни начну делать, все выйдет хорошо, а у вас сноровки нет... Вы у меня учитесь..."

- Полно тебе турысы-то на колесах разводить. Ну, скажи, что ты хорошего сделал? - говорит один работник.

- Ах ты! Почну я тебя щепать вот этой доской, - сердится Степан Еремеич. Все, знаешь,

хохочут.

- Не тронь его, братцы! Он на вонтараты халаты шил.

- Ах ты, сволочь! Небось получше твоего... Ишь, какой зубоскал!..

- Ну уж, шить и теперь не умеешь.

- Варнак ты, варнак, как я погляжу; в Сибири, пес, верно, не бывал! - злится Степан Еремеич, а из мастерской нейдет. Его пуще злят.

- И жил-то ты как? Начальство обманывал.

- Ну, брат, шалишь. Кто начальство обманет, семи ден не проживет. Эк ты к слову что сказал! А ты скажи, как твой отец-то жил?

- Что мой отец? Мой отец жил, как и все прочие грешные.

- То-то оно и есть... Губа-то не дура, верно...

Больше всего любил он похвастаться Тимофеем Степанычем.

- А почто ты у него в работниках живешь?

- Какой я работник? Кабы я жалованье получал, был бы работник. Сыну, брат, я не работник, а потому управляю, что скука берет без дела жить.

Степан Еремеич был человек простой и любил, как говорится, душу отвести с ребятами да побраниться, и никаких драк из-за худых слов не заводил, и не сердился ни на кого. Любил он также и кутнуть с ними в воскресенье, когда они были свободны от работы, и кутил на их счет. Ребята его любили и звали дедком. Это имя ему нравилось, а если кто называл его стариком - он ругался, и его почти каждый день дразнили стариком.

Жена у Тимофея Степаныча была красивая да здоровая баба, только над своею братиею гордилась, потому, значит, живут они хорошо и муж - мастер. Зазналась, значит. Дома она только носки вязала да стряпала что-нибудь послаще. Отца Тимофея Степаныча она пьяницею обзывала, а мать дармоедкой. У Тимофея Степаныча в шесть лет было уже три ребенка, да двое умерли. Нечего сказать, таки плодлива наша братия, потому, значит, мы люди здоровые. Вот жена Тимофея Степаныча и стала заставляя свекровь с детьми возиться, корову доить да стряпать. Возиться с детьми старухе было под стать - сама своих троих вынянчила и теперь любила внучат, а корову доить тоже она любила, но стряпать да иное что делать уж не под силу ей было. А Тимофей Степаныч скупой был. Он так жихморился, что работников кормил худыми щами и денег им не давал, а попробуй кто прийти к нему в гости - ничего не подаст, тот так посидит, да и уйдет. Ну, для чиновников да купцов он таки покупал полштофчик и после долго ворчал, что вот сколько денег истратил. И жена такая же была, даже хлеб взаперти держала, и ключи у нее постоянно в кармане были. Вот старуха, мать Тимофея Степаныча, и поругалась с молодой бабой, целый день ворчала.

Тимофей Степаныч но любил, как отец просил у него каждый день на косушку да на шкалик.

- Тимко! Дай-ко мне на косушку.

- Да что вы, тятенька, разорить, что ли, меня хотите?

- Ну дай. От гривенника или семигривенника не разоришься.

- Да что я, по-вашему, богач, что ли, какой?

- Ну, ты но разговаривай, а дай!

Тимофей Степаныч не всегда давал сразу, и тогда Степан Еремеич юлил около сына: "Какой ты у меня сокур ясный! Голова-то у тебя - ум!.. А выпить, значит, надо, спину разломило..." Тогда Тимофей Степаныч давал денег. Не нравилось и больно не нравилось сынку то еще: придет кто-нибудь к нему в гости, - а у него много было знакомых богатых и знатных - ну, попли, чиновник ли, - отец уж тут как тут. Сын-хозяин в сертуке, а отец в халате и дымит махоркой. Это еще ничего, так нет, - он еще разводят турусы на колесах: что-нибудь врет, себя да сына хвалит, а если видит на столе водку, пьет без приглашения, и один всю выпьет. Значит, забралась ворона в высокие хоромы, посади козла за стол, он и лапы на стол. Потому, значит, Степан Еремеич так делал, что простой был, со всеми одинаков, всех в дому считал равными, никого не боялся, да и считал себя старше сына. А если его, пьяного, упрекнет кто-нибудь, он выругает, а пожалуй, и приколотит. Вот сыну и досадно было, и называл он Степана Еремеича невежей. Потом обзывать стал в глаза и говорил, что у него свой дом есть. А Степан Еремеич не шел от него; ему не хотелось с ребятами-работниками расстаться, да и лучше казалось жить у сына, а в своем доме скучно и опять надо портничать. Вот он и говорил сыну: "Свинья, что ли, я тебе? кто я?.. Ты мне сын, я тебя вырастил".

- Не ты вырастил, добрые люди, - говорил Тимофей Степаныч.

- Врешь! - И отец лез колотить сына.

- Уж я не позволю себя бить.

- Не дозволишь? А если я тебя в полицию свожу?.. Отлуплю если?..

- Далеко кулику до петрова дня. - И Тимофей Степаныч уходил.

Однако эти разговоры были только тогда, когда Степан Еремеич был пьян, буянил да бросал на пол все, что под руку попадало.

Не лучше Тимофей Степаныч был и с тестем. У тестя было еще две дочери, из коих одна была замужем за чиновником, а другая еще девушка. Из сыновей один был урядник, другой - мастеровым, да с ним жили еще двое. Денег у него не водилось, потому, значит, зашибать он любил и таскался с какой-то бабой, хотя и жена у него жива была. После того как ушел от него Тимофей Степаныч да отошли от него самые лучшие работники и остались у него пьяницы, работа у него остановилась, а если работали, то не к сроку и некрасиво. Работу возвращали и заказывали другому мастеру или Облупалову. Под конец тесть и руки опустил, не стал смотреть за рабочими, которые пьянствовали да вперед деньги просили и работали на себя, потом и ушли от него. Тесть обеднел, и дом у него описали за долги. Пошел он к зятю; тот и говорит: у меня свое семейство; дал ему двадцать пять рублей, а в дом не принял. Вот тестюшко потел сам в работники к другому мастеру да стал ругать зятя...

Это еще цветочки, а ягодки впереди!

Однажды летом, в какой-то праздник, Тимофей Степаныч ушел с женой да с двумя старшими детьми к одному знакомому на именины. Дома остались Степан Еремеич и его жена. Старушка поводилась с детьми, заказала Степану Еремеичу не уходить из комнат, а сама ушла в свой дом посмотреть да пополоть траву в огороде, посмотреть, как капуста растет на просторе. И с собой шанежку взяла, для того, значит, чтобы поесть там. Ну вот, остался Степан Еремеич один в комнатах. Подойдет к кровати, пощупает перину. "Ишь как баско да мягко! Я никогда так не спал. Лечь разве",- говорит. Подойдет в другой комнате, на стену поглядит: "Эко у него одежи-то сколько! Баско! А мне небось не уделит..." Подошел к столу, отворил столешницу - две гривны лежат. "Взять разве?.. Ну их к богу! Лучше попрошу ужо". Ну, походил-походил таким манером с полчаса, скучно стало, песню какую-то затянул, не поется. "Выпить бы, задрал бы не хуже екатерининского дьячка!.." Лег на кровать - мягко...

"Ишшо изомнешь. Скажут, не на свое место залез..." Сошел с кровати, закурил трубку да посмотрел на портрет какой-то; скучно все было. "Дай схожу ненадолго вниз. Что-то ребята делают? Да кого-нибудь сюда притащу в шашки поиграть". Ушел вниз, а там кутят ребята. Один работник именины справляет. Ну, и подал ему работник стакан, потом другой... Степан Еремеич захмелел, заплясал и про верх забыл. Выпил еще стакан и уснул на верстаке...

Пришел домой Тимофей Степаныч и жена с детьми: в комнатах ни души нет, дети плачут, а около сундука половики сбиты. Поругалась жена Тимофея Степаныча, что и чуть не хотят посидеть дома, и стала отпирать замок сундука. Платье, вишь ты, ей нужно было положить да платок шелковый. Вертит это ключом в замке, вертится ключ во все стороны... "Что за оказия?" - думает жена Тимофея Степаныча. Взялась за крышку - крышка отворилась; в ящике все перерыто. Хватилась она в один угол - нет двухсот рублей. Позвала Тимофея Степаныча, который было спать лег. Тот удивился, озлился, и оба порешили: непременно отец либо мать взяли. Недаром их и нет...

Пошел Тимофей Степаныч в мастерскую, там спит Степан Еремеич, храпит на всю ивановскую, и двое рабочих тоже спят, значит; пьяные. Прочие работники в карты играют. Спрашивает он их: отчего отец пьян? Его, говорят, именинник угостил. Именинник был трезвый парень, то же сказал и осмеял еще старика. Спросил он про свою мать - сказали, домой за чем-то ушла.

- Ничего она не несла?

- Узелок маленький,- сказали они.

Вот Тимофей Стенаныч и подумал на мать да на отца. "Они это состряпали. Сговорились обокрасть меня",- и сейчас пошел в полицию, а работникам ничего не сказал. Из полиции живо отправились, кроме Тимофея Степаныча, казаки и квартальный в дом Степана Еремеича, перерыли там все, переломали чашки кое-какие и ни одной копейки не нашли. Вошли в огород. Старушка сидит себе между грядками, мурлычет какие-то божественные песни и вытеребливает траву около моркови. Перед пей на плате недоеденный ломоток сдобной шаньги лежит.

- Вот она, проклятая! - сказал один казак.

- Вишь, она деньги зарывает,- сказал другой. Старушка, как услышала это, испугалась, встала, рот разинула, стоит как чучело, что в огородах стоят.

- Рой огород! - кричит квартальный.

Толкнули старуху в сторону, руки ей скрутили и стали копать гряды. Плачет старуха, ругается, что ее родное тормозит...

А у наших баб, скажу я тебе, хороший человек, огород - любезная штука, все равно что сад у барынь. Каждая баба не может жить без огорода: так уж она с детства привыкла. Она и гряды сама скопает, и уладит их, и семян насадит, и чучелу сделает, чтобы птицы-озорники не поклевали ее родное. Она смотрит да любит, как капуста да морковь или кое-что хорошо растут; каждый день два раза поливает гряды да траву, которая мешает расти овощам, выдергивает, будь хоть тут вечером мошки и комары, которых у нас много. Сколько ссор бывает из-за огородов, если чья чужая коза попадет в него. Она сама с детьми уберет овощи и не налюбуется, когда свою капусту рубит; своя картофель во щах и в жарком и своя редька... А тут вдруг, ни с того ни с сего, гряды копают среди лета. Вот те раз!.. Воет старуха, понять не может, что бы это такое значило, ругается: "Я самому... самому главному пожалуюсь... анафемские вы, такие-сякие..."

- Куда ты деньги дела? - спрашивает ее квартальный.

Старуха ничего не понимает.

- Тебя спрашивают!

- Погоди, разбойники! Подам я те деньги... Сейчас пойду к главному.

Много соседей собралось.

- Тебя спрашивают: куда ты деньги дела?

Квартальный так ее ударил, что она упала. Соседи вступились за нее. Квартальный видит, что, пожалуй, его еще и прибьют, отправил ее в часть. Стали спрашивать старуху; она едва поняла, в чем дело-то; ругать стала сына; ее в острог спровадили. Спрашивали и Степана Еремеича; тот только ахнул да сына обругал, и его в часть посадили. Так они и сидели с две недели. Все их жалели да дивились на Тимофея Степаныча.

А вор-то настоящий был подмастерье Тимофея Степаныча. Он уже две недели пьянствовал и ходил на работу редко. Вот за ним и стали примечать работники да выпрашивать целовальника. Ну, и узнали, что он вот уж вторую неделю с деньгами ходит. Работники сказали Тимофею Степанычу, тот донос на него полиции, полиция нашла при нем двадцать рублей. Стали спрашивать: где деньги взял - заператься стал: нашел, говорит. А как стали драть, и рассказал, что когда Степан Еремеич пьянствовал в столярной, он вошел в комнаты, разломал замок и взял деньги...

Ну, старушку и Степана Еремеича выпустили, только старуха сумасшедшею вышла из острога, а Степан Еремеич полоумным стал. Старушка каждый день ходила к главному начальнику с жалобой, что ее обидели, огород испортили, да надоела она всем, в богодельню и отправили ее. Степан Еремеич лучше сделал. Он рассказал главному начальнику на Тимофея Степаныча все как было и просил только, чтобы он приказал отодрать его, мошенника, да пуще... Ну, главный начальник и велел отодрать на гауптвахте Тимофея Степаныча за то, что он, не разобрав дела, обвинил отца и мать... Славно постегали Тимофея Степаныча. Жарко было... А он толстеть только что начинал...

Степан Еремеич не пошел уже к Тимофею, хотя тот и звал его к себе, а бился у соседей, потому, значит, дома одному скучно было... Старушка недолго прожила с тех пор, как ее из острога выпустили. Она через месяц убежала из богадельни в свой дом, и оттуда ее никто не мог увести. Она то и дело ходила в огород да садилась между гряд и вставала, потом говорила: "Разорить меня хотите... Я самому... самому главному скажу!.." К соседям она не ходила и питалась тем, что ей носили сами соседи хлеб и молоко. Она иногда не брала и говорила: "Не хочу я. Это сын потчует... Не хочу! - и она бросала на пол хлеб: - не хочу - будь он трижды, анафема, проклят".

Ах, не видал ты этих людей, не жывал с ними?.. Жалости достойно... Четыре месяца мучилась так старушка. Ходил к ней и Степан Еремеич - и ходил только, когда бывал выпивши. Придет он в дом, сядет на лавку; она что-нибудь делает: или картофель перебирает, или редьку считает; смотрит так на нее жалобно и скажет: "Матрена, каков сын-то?" - а она и говорит:

- Ну, вяжи меня. Сади в острог.

- Матушка Матрена,- скажет, бывало, Степан Еремеич.

- Вяжи! Эк испугались... Хорош муженек...

Зимой ее в погребу потолком задавило.

Плохо жил Степан Еремеич; жалели его все соседи и ругали Тимофея Степаныча. А тому что:

живет себе по-прежнему, как ни в чем не бывало, и говорит: "Я не виноват: отец - невежа, необразован".

Так вот он каков был, Тимофей Степаныч, второй сын Облупалова... Нечего сказать, хороший человек, хорошее облупало!..

Бог знает, что было бы со Степаном Еремеичем без жены; может статься, худое бы он что-нибудь сделал, да, спасибо, его меньшей сын Максим призрел.

Максим стал учиться в окружном училище и к отцу ходил сначала только раз в месяц, а потом отпускали его каждое воскресенье. Когда он бывал у отца и когда я видел его, он говорил, что учат там больно строго, дерут уж больно некстати, чуть не каждый день, оставляют без обеда часто да на колени ставят; начальства там много: каждый учитель, каждый надзиратель да дядьки - начальники, и ученики есть начальники, кои старшими называются. Не хотелось Максиму учиться, а отцу хотелось, чтобы он человеком вышел, урядником был, квартальным поступил. Степан Еремеич говорил тогда Максиму: "Терпи, казак, - атаманом будешь. Теперь тебя дерут, потом ты сам будешь драть воров да плутов".

Окна в училище были на сажень от земли, и убежать ученикам было нельзя. Строго смотрели за ними и водили их, когда они ходили куда-нибудь, с солдатами, кои дядьками назывались. Да и водили-то их только в церкви. Училище это помещается во дворе, где горное правление, главная контора, где живет горный начальник, а против него монетный двор. Через год Максима певчим сделали, и пел он со своими же товарищами да учениками уральского училища, - были тут и урядники, - в Екатерининском соборе. А форма одежды учеников была все равно что у кантонистов: такие же курточки, такие же шинели и фуражки. За пегие Максим деньги получал, только не всегда, потому он мал тогда был. У нас, братец ты мой, даже и певчие и музыканты свои, казенные были. Певчие в Екатерининском соборе жалованье получали, а в прочих церквях певчим купцы помесечно платили; ну, да и доходы были, потому, значит, церковей немного, а народу много, город большой, и приглашали хороших певчих на похороны да на свадьбы. Только, надобно правду сказать, прежде, когда Максим пел, певчие в Екатерининском соборе хорошо пели, а теперь поют скверно - уши дерут, потому голосов нет, и силой петь уж не заставляют ребят. Только у нас самые лучшие певчие в Вознесенской церкви, где мой сынишко певчим, да еще архиерейские; да и там, если бы не дьякон один, так хоть распускай. Вот пермские архиерейские, кои приезжают сюда с архиереем своим раз в два года, вот уж певчие, единственные во всей губернии: наши стараются у них перенять, да не могут. Ну, да там губернский. Еще бы!

Максим в училище не очень хорошо учился, потому, значит, любил петь. Хотели его исключить за леность, да регент упросил. А когда он кончил курс в училище, через шесть лет, его хотели было на службу в главную контору взять да переписывать приучать, только квартальный упросил начальство перевести Максима в уральское училище; потому это хотелось квартальному, что оттуда урядниками выходят, и ему хотелось определить крестника квартальным. У квартального только один сын был, да дурачок такой: нигде не служил, ничего не делал, только пьянствовал да таскался, а числился тоже при полиции. Ну, вот квартальный и хвастался людям, что он - большой человек, благодетель хочет сделать бедным людям.

Поступил наш Максим в уральское училище опять на казенный счет, опять стал учиться горным предметам, маршировать да петь с певчими. Здесь житье было повольнее, в город отпускали каждый день. Ходил он к матери да отцу, говорил, что теперь лучше стало, кормил их пряниками да орехами и водки покупал отцу. Отец не сердился, что Максим водку потягивает, потому, значит, он считал его уж за человека и даже побаивался. Людей со светлыми пуговицами он считал за начальников. Хотя и считал он каждого себе равным, так это только у Тимофея в доме, а попадись навстречу со светлыми пуговицами - он и сморщится и шапку долой. Тимофея Максим не любил за то, что он гордым был и ему не

давал денег, когда он просил, а Тимофей называл Максима пьяницей. Ну, как певчих часто звали на похороны да на свадьбы и поили их там водкой, Максим и приучился потягивать, сначала рюмочку, а там и три, и пошли катать, а денежки на рынке проедал, потому, значит, кормили их скверно. Максим был бойкий парень, буян, не боялся дядек да надзирателей и пьяный завсе заводил драки. За грубость его сильно драли. Часто дядьки ловили его с водкой, коей он угощал товарищей, и представляли его инспектору, а тот драл. Вот Максим и не залюбил инспектора. "Раз, - говорил он мне, - приходит в класс инспектор, а я что-то чертил и не заметил его; ну, и сижу, черчу, а прочие встали. Ну, инспектор подумал, что я нарочно это сделал, вытащил из-за парты за ухо, поставил в классе на колени и обедать не велел. Вот я встал на колени, рассердился, что напрасно стою, и думаю: удеру я над тобой штуку такую, что будет тошно. И стал думать: что бы такое сделать? И надумался. Инспектор стоял спиной ко мне, ученика спрашивал, и учитель тоже спиной стоял. Вот я достал из кармана бумагу, разжевал ее во рту, сделал пулькой - и бац в инспектора... Пулька так и впилась в коротенькие волосы головы инспекторской. Ученики захохотали, а инспектор озлился, как лев, кричит: "Кто бросил? всех передеру! выгоню!" Ребята были славные, друг дружку не выдавали; дерка была нипочем, можно в больницу уйти; только теперь струсили: а если выгонят? Ну, и не сказали-таки. Притащили сторожа розог, и принялся он драть, да с меня и начал. Как стал драть, я и сказал, что я бросил, и не то еще сделаю, на колени, потому, напрасно не ставь. Ну, уж и драл же он меня так, что я ничего уж не помнил под конец, а только в больнице очуствовался". После этого Максим больно был зол на инспектора и учиться не стал. Делал разные штуки над учителями да дядьками, ругался, его драли и, наконец, вытурили из училища. "Вот как это было, - рассказывал Максим Степанович: - пришли мы с похорон, хмельны были изрядно, да с собой еще принесли штоф водки, какой утянули со стола, потому, значит, обедали особо от прочих. Ну, зашли в училище всей компанией, кроме маленьких, и урядники пришли с нами, и стали пить водку. Урядники попили немного, да скоро и ушли, а мы и давай одни пить, да петь, да плясать; еще послали за водкой одного музыканта, и музыканты закутили... Дядьки стали нас ругать да унимать, мы драку с ними затеяли. Один дядька пошел за инспектором. Пришел инспектор и давай драть нас. Я не дался. Пришли сторожа, скрутили меня, и пошли свистеть розги, а как это ударят, я и ругаю инспектора... Тот видит, ничего со мной не сделаешь, велел оставить меня драть и говорит: завтра же тебя выгоню. Я и говорю: больно нуждаются вашим братом - и обозвал его. Меня тотчас же и выгнали. Пошел я к отцу, а на другой день меня потребовали в училище и сказали, что я уж исключен. Ну их! Петь стану". Бился так Максим Степанович недели две, хотели его куда-то на заводы послать, да отец упросил горного начальника, и приняли его писарем в главную контору. Вот и стал он служить в главной конторе и певчим все-таки был. Только и на службе он ленив был, мало писал. Все ему хотелось делать по охоте: захочет писать - давай, напишет; не захочет - хоть проси-распроси, - возьмет шапку и уйдет. "Стану я вам за четыре рубля писать! Эк вы выдумали!" - говорил он тогда. Впрочем, он не грубил здесь с начальством. Сначала он у отца жил, а потом, как перешел к нему Тимофей с женой, пошли у них ссоры между собой из-за жены Тимофея, - вишь ты, Тимофей ревновать стал жену, - ну, Максим и ушел на квартиру. В главной конторе он служил с год, а потом его определили в горное правление и там через три года урядником сделали.

Урядник для нашего брата, маленьких людей, важный чин, и получить его трудно. Рабочему да мастеровому о нем и думать не велено. Этот чин дают только тем, кои бумагу марают да перья портят. И те получают с трудом. Если кто выучится в школе заводской, тому, если он поступит в контору, дают чин писца. Это самый первый чин равный рабочему, и писец уравнен с рабочим. По особым заслугам да за деньги давалось писцу, годов через пять или десять, звание писаря. Чин этот равен нижним горным чинам, о чем я уж говорил раньше, а если кто выходил из окружного училища, тому давалось прямо звание писаря. Вот у нас, в заводах, и были все писцы да писаря, а если кто имел деньги да начальству нравился, того представляли в урядники. Из уральского училища прямо выходили урядники. Урядник уж был третий чин и носил галуны. Он был все равно что унтер-шихтмейстер, какие прежде давались вместо урядника, или все едино что унтер-офицер. Урядники еще назывались по статьям:

первой, второй и третьей. Сначала производили в третью степень, потом во вторую, потом в первую. Только это были прикрасы, а урядник все-таки был урядником, разве только жалованья больше получает. Урядник потому был важен для писарской братии, что со времени производства в урядники считалось время для производства в офицерский чин. Офицерский чин давался уряднику через двадцать лет, а если занимал класную должность три года, то через двенадцать лет. Ну, дети офицеров да дворян по особому уставу чины получали: те, значит, не нашего поля ягоды. Вот у нас, в главной конторе и горном правлении, есть писаря и старики; уж так фортуна не везет. Тоже вот и в горное правление трудно попасть из заводов, потому, значит, каждый любит жить в своем родном месте, где у него дом да покос и все знакомые или товарищи. Попадали туда только молодые да богатые. Без денег туда не переводили из заводов. Таким-то порядком и служили там, в горном правлении, или из городских, или из заводских детей,- люди все ученые, ребята молодые да славные; так тут и умирали урядниками, и если должности не получали и чиновниками делались, в заводы уезжали на хорошие должности и над нижними чинами командовали.

С полгода, бывши урядником, Максим Степанович хорошо служил: водки пил мало и писал в правлении прилежно. А потому это так - жениться он задумал. Понравилась ему одна девушка на бульваре. Ну, он сначала подлачился к ней, потом и пошли у них дела и тянулись с полгода. Она была дочь купца, и за нее сватался столоначальник горноправленский, человек так лет сорока, - потому сватался, что ему хотелось получить денег тысяч десять да дом каменный. А Максим Степанович говорил, что ему денег не надо: сопьюсь, говорил, либо задавлюсь. Ну, послал он свою сватью - той отказали; он столоначальнику сказал, тот его обозвал как-то, - и все-таки женился на его любезной и удрал с ней куда-то исправником - за деньги определили. Ну, и сбился с панталыку Максим Степанович: стал водку пить да буянить, драки заводил в кабаках; когда певал в церкви, кричал во всю ивановскую, - а у него басина был здоровый, протодьякону не уступал. На службу ходил редко; его дежурить не в зачет заставляли, он все-таки уходил; пакости разные делал со столоначальником; в шести столах перебивал, в долгу постоянно был, с квартир гнали. Нечего сказать, хорошая забулдыга сделался, а к брату не шел, подлецом его называл, а если есть деньги - зайдет к отцу, и утащит его к себе на квартиру, и напоит до отвала, а нет - на службу идет заниматься и денег в долг просит. А еще молод был. Мне жалко его было, потому, значит, он все же выше нашего брата был, а опустился вон как. Наша братия, мастеровые да работники, любят выпить: что называется, до положения риз напьются и руками при этом почешут для собственного удовольствия, а до того, как Максим Степаныч, не доходили, не безобразничали. Все же думаем: у нас семейство; не будешь работать, так уморишь детей; а служащая братия совсем иначе: есть деньги - пропьет, нет - в долг берет, а не дают, голодом сидят; да добро бы жалованье хорошее было, а то каких-нибудь шесть рублей - и все тут; наш брат больше получит. Наш брат начальства боится, а у них начальство снисходительное, не дерет. Вот и пьянствуют да не едят или не делают дела. Впрочем, не все были там такие, как Максим Степаныч; там много было трезвых да трудолюбивых, смиренных таких; а он всех превосходил. Это бы еще туды-сюды, так он еще свое начальство ругал. "Вот, говорит, этот плут, а этот дела не знает, такого-то давно бы в отставку надо выгнать..." Задирчивый был человек... Хорошо, что начальство не слышало, а то угнало бы его туда, куда Макар телят не гонял.

В то время был у нас главный начальник больно строгий человек. Он никаких не порядков не терпел; всех служащих в струнке держал, требовал, чтобы все служащие в форме ходили, чтобы, когда он идет или едет да кто мимо его идет или навстречу попадет, шапку ему снимал да кланялся, чтобы в горном правлении его на крыльце встречали советники, секретари да экзекутор. Ну, и боялись его все, в заводах трепетали, и что ни скажет он, свято. А уж седой был, только ходил скоро и говорил скоро да громко, как кричал, и лицо у него строгое было. Все-таки он и добр был иногда и в нужды людей входил, если расположение на то было. С горными начальниками да управителями он делал что хотел, а на маленьких людей и внимания не обращал, а в нужды входил так, как вздумается, да когда расположение

будет. Однажды был в горном правлении. Выругал там советников и пошел по отделениям. Ну, идет и кричит, урядникам любо. Только увидел он у Максима Степаныча волосы длинные на голове.

- Что это? - вскричал на Максима Степаныча главный начальник.

- Волосы,- говорит Максим Степаныч. А он уж выпивши был.

- Что?

- Волосы, ваше превосходительство.

- Посадить его на гауптвахту! - сказал главный начальник. Ну, и посадили Максима Степаныча на гауптвахту и проморили его там трое суток. Максим Степаныч был такой же человек, как и наша братия: видим, что нас ни за что обидели, если свой брат - отколотим, а начальство выругаем, а потом хоть и отдерут, все же нам любо, что мы его выругали; ну, и он был мстительный. Однажды его секретарь за что-то обидел. Вот он пришел утром рано, забрался в его комнату и облил чернилами какой-то журнал, листах на двадцати, и ушел петь с певчими на похоронах. А журнал нужный был, нужно было его в этот день к главному начальнику нести. Ну, а главный начальник и посадил секретаря на гауптвахту... Так и теперь: вздумал Максим Степаныч удрать какую-нибудь штуку, - и то над кем же? Над самим главным начальником! Иной из нашего брата и подумать об этом не посмел бы. И сделал-таки штуку. Шел он однажды с похорон пьяный до того, что едва стоял, и ухает песни, а самого пошатывает направо и налево. Только он поравнялся с главным правлением, и едет к нему навстречу главный начальник. Он идет да ухает. Главный начальник видит - человек в горнозаводской форме, осердился, что у служащих такие беспорядки да безобразия, и велел кучеру остановить лошадей.

- Кто ты такой? - кричит он Максиму Степанычу.

Тот остановился и кричит: "Проваливай!" Главный начальник не понял и спрашивает снова: "Кто ты такой?"

- Немазанный, сухой...- И пошел Максим Степаныч своей дорогой.

Главный начальник вошел в бешенство, вылез из тарантаса и догнал его.

- Я тебя спрашиваю, кто ты такой?

- Петр Петров Пастухов.

- Отчего ты пьян?

- Пьян и еще выпью,- говорит Максим Степаныч и побрякивает деньгами: - Пойдем в кабак.

Что? Как ты смеешь говорить мне это? - и главный начальник ударил его по лицу.

- Ты не дерись, сам сдачи дам. Эка птица!..- Главный начальник видит, что с пьяницей ничего не сделает, махнул рукой солдатам, кои у гауптвахты были, и как те подошли, он сказал им взять его и держать до тех пор, пока я не распоряджусь с ним! "Я тебе задам!" - сказал он Максиму Степанычу... Увели солдаты Максима Степаныча на гауптвахту: ну, да ему не привыкать стать сидеть; он говорил солдатам: "Что, каков! Сделал-таки штуку... А здесь квартира готовая..."

На другой день получилось от главного начальника в горном правлении приказание: сослать Облупалова урочно-рабочим на богословские заводы. Богословские заводы - казенные, и край там самый бедный, потому холодно и хлеб дорог; туда ссылали людей за преступления

да за разные разности. Ну, и сослали туда Максима Степаныча.

Вот оно что значит с сильными бороться: как муху придавили.

Всякому известно, каково из урядников вдруг сделаться урочно-рабочим. Уж коли урядника трудно получить писцу, хорошему человеку, а из урочного работника и не думай быть урядником. Не знаю, что бы сделал над собой Максим Степаныч, да только у него в заводе много было из уставщиков да других чинов товарищей по уральскому училищу, да в главной конторе, при горном начальнике, служили его товарищи по горному правлению, - знали его; ну, они-то и поддержали его. Горный начальник любил музыкантов да певчих и велел ему быть певчим, а на работы не велел ходить, а в свободное время писать в конторе велел. Теперь Максим Степаныч понял, что бороться с начальством нельзя, и стал слушаться начальников; стал опять певчим и ходил в контору ради того, чтобы скуку провести, а пьянствовал уж редко и то - кто к себе его позовет. Так он и бился два года.

Приехал туда, в завод, тот же главный начальник. Был он в церкви у обедни, и понравились ему певчие. Только стоит он в церкви и посматривает на клирос, а там Максим Степаныч в то время регентом был. Кончилась обедня, главный начальник и говорит на обедне горному:

- Хорошо поют певчие, хорошо. Дать им двадцать пять рублей. Кто регент?

- Рабочий Облупалов, - говорит горный начальник.

- Позвать его! Пришел Облупалов.

- А, это ты?

- Виноват, ваше превосходительство!

- Как он живет? - спросил главный начальник горного.

- Отлично, - говорит горный начальник.

- Пьет водку?

- Нет.

- Ну, Облупалов, я тебя прощаю. Смотри, не попадайся мне вперед таким на глаза. Не то сделаю. Потом и говорит горному начальнику:

- Возвратить ему урядника, а из завода не выпускать!

Воротили Максиму Степанычу урядника и определили в контору, потом столоначальником сделали. Хорошее ему было житье в заводе, все любили его, а если любил он выпить, так пил уж не по-прежнему. Тут, в заводе, он женился, взял мастерскую дочь; хотя у отца ее и не было денег, да она молодая, красивая была и больно ему по сердцу прилась. С женой он там жил годов пять и двоих детей - сына и дочь - прижил, а когда уволили его из горного ведомства, он и уехал с женой да детьми в наш город, и остановился в отцовском доме, и отца призрел, а жене велел уважать отца и ничем не попрекать. В гражданскую службу он не пошел, а записался в мещане и занимается теперь у одного купца-золотопромышленника бухгалтером в конторе, и жалованья получает тридцать пять рублей в месяц, и живет лучше иного чиновника. Дом он поправил и сделал в нем три горницы и кухню, а в огороде сад хочет развести...

Тимофей, как уволили его, тоже в мещане записался и по-прежнему занимается мастерством; толстый стал, только уж он теперь много вина пьет, все ром, да в карты начал поигрывать и проигрывает деньги. Жена его толстая стала, а как это наденет кринолин - ужась какая

широкая! Не любят наши мастеровые кринолины, а жены то и дело порываются хоть обруч с бочки да натянуть... Срам! Ну, Тимофей да жена теперь еще гордее стали, потому у них знакомых много.

Вот Максим Степаныч - так душа-человек. Любезный, обходительный, со всяким поговорит хорошо, и совет даст, и денег даст. Со мной он больно хорош: все мне книги разные дает. И жена его, Парасковья Яковлевна, такая же. Все наши бабы ее любят да завидуют ей. А кринолины она не носит и ходит попросту. И дети у них, не в пример нашим, такие разумные да толковые: и книжечки читать умеют, и стихи наизусть знают, и много на улице не балуют. Максим Степаныч сам их обучает да ласкает, а чтобы ударил когда - ни за что! "Я, говорит, хочу их воспитать как должно, а потом сына отдам в гимназию, а дочь - в женское училище".

Таковы-то были три брата Облупаловы.

По-моему, Максим из всех их лучше, потому, значит, он всех больше перетерпел, и не загубил себя, и другим вреда не сделал, а хорошее дело сделал: отца призрел. Любо посмотреть на старика: делает он по своей охоте, ест что хочет все его любят, дети Максима его забавляют, и он их тешит. Любит он и выпить, и как выпьет, целует Максима золото ты у меня! бог тебя наградит, голубчика... Потом жену его целует и говорит: красавица ты моя писаная. Всех ты баб наших лучше. Не серди моего Максюточку будь к нему ласковее! Потом детей их ласкает: внучаточки! куплю я вам перчаточки! постреляточки, куколки мои...

This file was created with BookDesigner program bookdesigner@the-ebook.org 23.06.2008